

18+

Михаил Забелин

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

роман

Михаил Забелин

**Возвращение
блудного сына. Роман**

«Издательские решения»

Забелин М.

Возвращение блудного сына. Роман / М. Забелин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-643118-8

В романе переплетаются извечные проблемы отцов и детей, любовь и психология отношений между близкими людьми. Главный герой, молодой художник, проходит путь от падения на самое дно к возрождению, пониманию бога и осознанию себя как личности. Его любовь к женщине, казалось бы взаимная, полна непредсказуемости и драматизма. Его судьба, отношения с отцом и братом напоминают известную библейскую притчу о блудном сыне. Каждый из героев проходит свой путь познания и внутреннего перерождения.

ISBN 978-5-00-643118-8

© Забелин М.
© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
ГЛАВА ПЕРВАЯ	7
I	7
V	22
X	33
ГЛАВА ВТОРАЯ	35
I	35
V	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Возвращение блудного сына

Роман

Михаил Забелин

© Михаил Забелин, 2024

ISBN 978-5-0064-3118-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.»

Св. Евангелие от Луки, гл.15

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На перекрестье трех дорог стоял город. Недалеко, как напоминание и предупреждение, пролегал сквозь леса прямой, как ось, владимирский тракт. Город возвышался монастырем на холме, но сам будто прятался за ним укромно и казался застенчивым и тихим. Там, вдалеке, куда во все стороны света вели дороги, блистали вечерним искусственным светом и горланили большие города, а городок оставался все тем же старинным селом, каким и был когда-то, и в этой его патриархальности чудилось что-то трогательное и по-детски искреннее. Он жил скромно, неторопливо и спокойно, работал, растил детей, неброско принаряжался к праздникам, строился невысокими домами, рано вставал и рано ложился спать, темнея пустыми улицами. Города – как люди, только век их дольше. Одни знаменитые, другие неизвестные, одни суетливые, другие тихие, одни громкие, другие неприметные. Какими бы они ни были, какими бы разными и удивительными ни были их судьбы, Бог оделил их всех трудами и заботами, радостями и страданиями, тяготами и надеждами, красотой и любовью. Везде люди живут, и неважно, кому, что милее: блеск бала или умиротворение осеннего леса, – все проходит, и весна скоротечна.

Городок, низкорослый и невыдающийся, карабкался домами по берегам речки Тахи и извилистой, полной и чистой Шачи. Таха-птаха будто приросла к городу, а Шача, как проказливая девчонка, вырывалась и убегала на восток, к Волге.

В этот год зима объявилась рано и неожиданно: легла снегом на Покров, продержалась две недели и отступила, словно извиняясь, что пришла до срока. Потом долго топталась на пороге, то плача запоздалыми осенними слезами, то светлея долгожданным снегом. И, наконец, упала белой грудью на город, завьюжила и замела дома и дороги. Долгие вечера посветлели от снега, и радостнее стало на душе от глубокого, чистого воздуха, похожего по вкусу на студеноую родниковую воду. Городок спрятал голову в пушистый белый мех, притих еще больше и замер.

Ночь быстро съедала невзрачный день и укрывала людей за шторами окон. Тишина и покой опустились на землю, но за дремотными сумерками, там, где вспыхивающие в домах огоньки сигналили маячками о живущих в них людях, неведомая миру жизнь кипела страстями и бурями, не уступающими по надрывности чувств шекспировским трагедиям.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ДОРОГА

I

В доме тихо, в доме никого нет, кроме Дарьи Степановны. Она сидит у окна, и взгляд ее скользит мимо засугробленного двора, за дырявый полосчатый забор, дальше за околицу, туда, где за белым полем, у края неба, перечеркивает окраину дорога. Трасса здесь проходила всегда, урчала издали моторами – отголосками больших городов, и несла на себе вереницу машин, увозящих кого-то туда, где грохочет жизнь, и изредка прибывающих к их тихому берегу какого-нибудь заблудившегося чужестранца из далеких столиц.

Дарье Степановне это старое шоссе казалось дорогой во времени. Она смотрела на него, и годы раскручивались вспять, зиму сменяла осень, а за осенью наступало лето. И тогда вместо заметенного асфальта она представляла себе речку Шачу, а вместо голого поля цветущий, зеленый, крутой берег, забрызганный солнцем, дремлющий в теплой неге.

История семьи Головиных начиналась в лето 1983 года, более тридцати лет назад. Даше было семнадцать лет.

Стройная, темноволосая, кареглазая, она притягивала взоры. Когда знакомые или чужие люди бросали на нее даже мимолетный взгляд, им хотелось остановиться, посмотреть еще раз в ее глаза и улыбнуться. На нее было трудно взглянуть без улыбки. В ее лице было столько открытости и огня, будто даже в пасмурный день пробился к ней сквозь тучи лучик солнца, отпечатался на ее губах и зажег глаза. Они, как темный янтарь, лучились, порой беспричинно и по-детски радостно. Она будто несла в себе искру и дарила ее каждому встречному. Она сама была, как пламя, как летний ветер, как шаровая молния – быстрая, непредсказуемая, яркая, как солнечный зайчик.

Длинные, темно-русые волосы шалью обнимали плечи, руки порывисто прижимались к груди, загорелые ноги не могли усидеть на месте. Светлый сарафан раздувался от ветра, она выглядела соблазнительной и изящной, непосредственной, свежей, юной и очень красивой.

Поддубное, на берегу Шачи, было ее любимым местом в погожие теплые дни. Речка протискивалась меж зеленых холмов, своевольно изгибалась, как змея, и бежала, огибая город, к Волге. На крутом берегу березы ровным строем шагали вверх по травяному ковру. Даша любила гулять меж ними бездумно, бесцельно. На другом берегу, более ровном, издали подступали заливные луга, отороченные сосновой рощей, и замирали на самом обрыве. Здесь Даша загорала и купалась, обычно с подругами.

В то лето Даша готовилась поступать в институт, чаще оставалась одна, брала с собой сумку с учебниками, бутербродами и термосом, расстилала подстилку, ложилась, подставляя спину солнцу, и открывала книгу.

Учеба в школе ей давалась легко, и подготовка к экзаменам была для нее, скорее, необходимым ритуалом, а не лихорадочной зубрежкой.

Солнце припекало кожу, Даша с разбегу бросалась в воду, чтобы остудить жар, отвлечься от строчек в учебнике, и плыла на спине по течению, глядя в распахнувшееся голубое небо.

Странная штука память: те далекие дни она запомнила в мельчайших подробностях.

Недалеко плескалась в речке гашА.* Чуть постарше, чикалЯли* мячик, их родители, расстелив на траве покрывало, выпивали и закусывали.

*гаша – маленькие дети (Ивановский диалект)

*чикалять – бить мяч рукой о землю (Ивановский диалект)

Подальше, у леса, жарили шашлыки.

Сверкая каплями воды после купания, от чего казалось, что уже не только лицо ее, а вся она светится и сияет, Даша поднялась на берег и увидела в двух шагах от себя, у обрыва, парня, перед ним мольберт, а в руке его кисть. И сам он, то ли смотрел на противоположный берег, обдумывая композицию, то ли на нее косил любопытным взглядом. Даша подошла и заглянула ему за спину. Она плохо разбиралась в живописи, неизвестно, что это было: эскиз, этюд, но холст быстро заполнялся красками, и вот уже река и зеленая трава на другом берегу проявлялись на нем, как фотография. Голубое небо опускалось на березы и брызгами света кропило деревья и кусты.

– А ту птицу можешь нарисовать?

Парень улыбнулся, посмотрел на Дашу, и птица, широко распластав крылья, замерла на его полотне.

– А полевые цветы?

Ни слова не говоря, он, как волшебник, усыпал берег цветами.

Даша засмеялась и захлопала в ладоши от удовольствия.

– Это же чудо какое-то!

– Любишь цветы и птиц? – спросил он.

– Конечно, как их можно не любить, они такие красивые. А ты не местный, да? Я тебя раньше не видела.

– Ты что, всех здесь знаешь?

– Дак да. Городок-то наш маленький.

– Я здесь первый день, только приехал.

– Откуда же?

– Из Москвы.

Даша посмотрела на него, как на пришельца из космоса. Москва находилась не близко, не далеко, за четыреста километров, но она была даже не столицей, она, как другое государство, как далекая планета, как звезда на небе, представлялась одновременно и сказкой, и мечтой, манящей и недостижимой. Многие ездили туда на заработки, кто-то там остался, Даша бывала в ней несколько раз, но жить в Москве, даже увидеть человека, который там живет, казалось ей необычным и выдающимся.

Парень был старше ее лет на шесть-семь. Едва взглянув на него, она сразу подумала: не наш. А когда он заговорил, догадка подтвердилась: нет, не местный. В их краях окали немного, а он говорил как-то по-другому. И не сразу было понятно чем, но он отличался даже внешностью. Он явно выделялся среди ее знакомых, не тем, что он был художником, художников здесь бывало много, а взглядом что ли, не нахальным, а внимательным и открытым, или поворотом головы, или сказанными словами. В нем проглядывала какая-то задумчивость и мягкость. Волосы его были светлые, волнистые, нос прямой, губы слегка припухлые.

– А что же ты тут делаешь? – спросила она так, как спрашивают ребенка: «Ты что, мальчик, заблудился?»

Он, по-прежнему, улыбался.

– Меня Ильей зовут. А тебя?

– Даша, – выдохнула она и снова заулыбалась так, будто вместе с именем приоткрыла и свое радостное настроение, и даже немного себя.

– У меня здесь дядя живет, Игорь Васильевич Жилин, у него домик на стрелке. Может быть, знаешь его?

– Жилин, бирюк, знаю.

- Почему бирюк?
- Дак он всегда один и из дома почти не выходит.
- Нет, он прекраснейший человек, я тебя с ним познакомлю. Один, да, так судьба у него сложилась.
- А ты к нему раньше не приезжал, ведь, правда? Я бы тебя запомнила.

На Дашином лице читались такое любопытство и такая бесхитрость, что Илье стало весело. Ему неожиданно захотелось написать ее портрет: у нее было необычно живое и выразительное лицо, а в глазах прыгали солнечные искорки.

Илья Андреевич Головин бывал в этих местах давно, в детстве, с родителями. Они гостили у дяди Игоря. Была жива еще его жена – тетя Клава. Он запомнил, как летними вечерами они выходили в сад, и с высокого берега открывалась бесконечная, в сине-желто-зеленых тонах картина: у подножия холма встречались речки Таха и Шача, одна вливалась в другую, а за рекой, окаймленные с двух сторон лесом, убегали к заходящему солнцу зеленые луга. Он до сих пор помнил то состояние восторга от открытой им красоты, которое, в конце концов, и определило его выбор – стать художником. Почему-то потом он редко вспоминал о тех далеких, теплых вечерах и до нынешнего лета не приезжал сюда. Илья учился на предпоследнем курсе Суриковского училища, и недавно ему пришла в голову мысль снова приехать в эти края на этюды. Как-то вдруг потянуло вернуться даже не в детство, а будто к истокам той когда-то подсмотренной красоты. И сейчас, увидев на берегу березовой речки девушку, похожую на нимфу и наяду здешних мест, Илья вдруг почувствовал радость от того, что приехал, от того, что приехал именно сейчас, и неясное предчувствие добрых, хороших перемен охватило его.

- Что же ты молчишь?
- Да, я давно в этих местах не был, двадцать лет. Я рад, что я здесь.

Даша отметила про себя, как быстро меняется его лицо: то он широко улыбается, глядя на нее, то его улыбка тает, и он, словно погружаясь в воду с головой, уходит куда-то далеко в своих мыслях.

В тот день они купались и загорали вместе, лежали рядом на подстилке, разговаривали, и в их общении не было ни скованности, ни робости. Потом Илья провожал ее до дома, и вокруг всё казалось ему воздушным и приветливым: встречающиеся люди и пыльная дорога, и небо, и солнце, и город.

На следующий день, ближе к вечеру, Илья повел Дашу в гости к дяде Игорю.

– Он не такой бирюк, как кажется. Просто после смерти тети Клавы он мало выходит из дома, но меня любит, и ему хочется выговориться за многие годы. Он тебе понравится.

Дядя Игорь, большой, крепкий, еще не очень старый мужчина, встретил их со старомодной галантностью и любезностью.

Илье он всегда представлялся огромным и незыблемым, как скала, застывшим во времени, как памятник прошлому. Таким дядя Игорь виделся ему еще в детстве, когда бывал наездом в их московской квартире, да и сейчас рядом с ним он ощущал себя мальчиком из сказки, зашедшим в гости к великану. Почему-то он больше всего запомнил из детства, как дядя Игорь ставил на стол огромную коробку с тортом и говорил: «Ну, открывайте, это, Илюша, для тебя». В коробке оказывалось нечто удивительное: что-то квадратное, узорно-коричневое с четырьмя шоколадными зайцами по углам. Ничего подобного в своей жизни Илья никогда не видел, хотя позже часто специально искал такой торт. В комнате стоял резной старинный шкаф под потолок, и перед отъездом дядя Игорь говорил: «Слушайся, Илюша, родителей, а то я тебя посажу на этот шкаф, и до следующего моего приезда никто тебя оттуда не сможет снять». И вправду,

Илюшины папа и мама были на голову ниже, и дядины слова воспринимались всерьез. Возможно, еще и потому, что встречались они редко, детское отношение к дяде Игорю, как к доброму волшебнику, сохранилось у Ильи на всю жизнь.

– Проходите, рад вам. Пойдемте лучше в сад, там красиво, присаживайтесь, я сейчас чаю заварю.

В деревянной резной беседке было уютно и чисто. Неторопливо приближающийся вечер разогнал редкие облачка и теплел клонившимся на запад солнцем. Внизу серебрилась рыбьей чешуей Шача. Те же луга и тот же лес из Илюшиного детства расстилались до голубого неба и доносили к ним ароматы мяты и полыни.

Даша пила чай, не торопясь, смакуя, со вкусом, и глаза ее сияли. Ей здесь нравилось. Дядя Игорь оказался никаким не бирюком, а приятным, гостеприимным человеком. Сад был тенистым, уютным, вид с обрыва, действительно, открывался удивительный. Илья присел в сторонке и не отрывал от нее взгляда. Игорь Васильевич облокотился локтем о бордюр беседки и говорил много, будто в Даше неожиданно обрел и благодарного слушателя, и прекрасный повод для воспоминаний о своей молодости, в которой только самые красивые девушки приходят к вам в гости.

– Наш род, Дашенька, мой и Илюшин по материнской линии, жил многие века в этих местах. Недалеко отсюда, в Суздале, сохранился старинный дом наших предков. Они были известными купцами. Но интересно другое: в Суздаль нашего прапрапрадеда сослал еще Иван Грозный из Новгорода. Корень наш произрастал оттуда, а когда царь решил подмять под свою руку своевольный город и много крови пролил, так что, как написано в летописях, не один месяц Волхов был красным от людской крови и черным от плывущих по нему трупов, наш пращур – знаменитый мастер-оружейник был за свое мастерство помилован, но выслан прочь со всем своим семейством, в Суздаль. А мой отец после революции перебрался сюда. Я уже здесь родился, в этом доме. Только окончил школу, и война.

– Игорь Васильевич, мне Илья говорил, что вы воевали. Расскажите, пожалуйста.

– Война – страшная вещь. Убивать людей невозможно, не по-человечески. А тут выбора нет. Или ты его, или он тебя.

Вы только представьте себе этот ужас: лежишь в окопе, а на тебя движется армада, танки и тысячи людей с автоматами. Рядом рвутся снаряды и свистят пули. И чувствуешь себя маленьким и голым против этой неотвратимости смерти. Будто черный великан, грохоча, ступает по твоей земле и уже занес ногу, чтобы наступить на тебя, раздавить и пойти дальше. Изнутри поднимается и сжимает горло страх: что ты можешь один против этой махины? Кто-то, доведенный этим страхом до отчаяния, до потери разума бежит назад, петляя, как заяц, чтобы увернуться от пуль и спрятаться от танков. Такие погибают в первую очередь. Но если ужас от ревущей, убивающей, катящейся на тебя громады превращается в ярость, и ты забываешь в порыве ослепления о собственной жизни, то, может быть, выживешь.

Ты думаешь только о том, чтобы стрелять и убивать врага, чтобы он захлебнулся собственной кровью и остановился, наконец. Стреляешь и убиваешь. Сколько раз такое было: немцы врываются в твой окоп, начинается рукопашная. Из автомата ли, штыком или голыми руками, но кто кого, или ты, или он. На войне нет выбора.

Даша слушала заворожено. Игорь Васильевич говорил, не торопясь, спокойно, вдумчиво, с достоинством. Он смотрел куда-то мимо Дашы, будто там, за ее спиной проходила линия обороны и грохотала снарядами и смертью война.

– Сколько людей погибло! Приходит пополнение: после первого боя трети нет, после второго половина осталась, после третьего лишь немногие уцелеют.

– Дядя с начала войны был на фронте и до Берлина дошел, – вставил Илья.

– Да, будто хранил меня кто-то всю войну. Три с половиной года смерть рядышком ходила. Сколько было таких случаев. Уворачивался я от нее.

– Как это, уворачивался? Разве от смерти можно увернуться? – воскликнула Даша.

– Можно, еще как можно. Хотите, расскажу?

– Да.

– Шли бои в Крыму. Был приказ: взять высоту, тихо, ночью. Без шума не получилось, и немцы стали светить в нас прожекторами и забрасывать гранатами. У них гранаты заметные, с длинными ручками. Светало уже. Дважды рядом со мной падали гранаты. До взрыва три секунды. Справа упала, я перевернулся и залег. Взорвалась, не задела. Вторая рядом, опять успел перевернуться. На третий раз совсем близко. Осколками не зацепило, но песком глаза запорошило и камушками лицо посекло, так что кожа лохмотьями свисала. После боя я в медсанбат: глаза промыли, лицо почистили, вроде ничего, и снова в бой. Кстати, однажды я такой немецкой гранатой «языка» взял.

Даша слушала восторженно, будто смотрела фильм про войну.

– Это было на Львовщине. Мы уже наступали. Бои были страшные: за каждый холм, за каждый хутор. Какая-нибудь неизвестная деревня по несколько раз из рук в руки переходила. В тот раз мы отстреливались. Я лежал в ложбине, и вдруг будто дернуло меня выползти, осмотреться. Вылезаю и сталкиваюсь лоб в лоб с немцем. У меня пистолет и немецкая граната за поясом, у него – винтовка наперевес. Оба остановились на секунду и растерялись от неожиданности. Он на меня наставил в упор винтовку, а палец уже на курке. Я пригнулся, пуля рядом прошла. Тогда я выхватил из-за пояса гранату и огрел его по голове. Наверное, так сподручнее было, чем из пистолета. Он упал, я ему руки связал за спиной и потащил в штаб, благо штаб полка метрах в пятидесяти был.

Игорь Васильевич, словно смахнув соринку, провел ладонью по глазам и сказал:

– Хватит о войне. Давайте еще чаю.

С этого времени они стали видеться каждый день. Утром Илья заходил за Дашей, и они шли купаться на Шачу, на то место, где встретились впервые. Даша расстилала на траве покрывало и выкладывала на него термос с чаем и бутерброды, Илья ставил на берегу мольберт. Ей нравилось смотреть, как он работает. В эти минуты лицо его делалось сосредоточенным и отвлеченным, словно в мыслях своих и в фантазиях он переносился на другой берег и еще дальше, за холмы и березы, за горизонт. Он не глядел в ее сторону, и от этого она чувствовала себя свободнее и уверенней, будто подглядывала за ним, а он не мешал ей себя рассматривать. Что-то неуловимое, спрятанное внутри его, то, что Даша никак не могла угадать, что можно было бы назвать вдохновением, притягивало в его лице и начинало ей казаться необычным, удивительным и прекрасным. Ей становилось приятно от мысли, что он рядом и, несмотря на свою серьезность и отстраненность, тоже, конечно, думает о ней и, наверное, улыбается про себя.

Потом, возвращаясь к ней из своего воображаемого далёка, он неожиданно менялся в лице и становился проще, ближе и понятнее.

Постепенно и очень быстро между ними установилась какая-то им самим непонятная связь, похожая на невидимую ниточку, перекинувшуюся, как мысль, из одной головы в другую. Даша, за секунду до того, как он что-то делал или говорил, вдруг угадывала то, что он скажет или сделает в следующее мгновение, будто считывала его мысли: «Вот он сейчас отложит кисть и повернется ко мне», – и он поворачивался, – «вот он сейчас подойдет ко мне близко-близко, возьмет за руку и скажет: „Пойдем, окунемся“, – скажет так, словно в этих словах совсем другой смысл», – и он подходил и брал в руку ее ладошку. От этого прикосновения становилось трепетно и горячо в груди, и током било руку.

Илья за те скоротечные недели, что они были с Дашей знакомы, настолько привык думать о ней и представлять ее постоянно: ночью, рано утром или поздно вечером, когда ее не было рядом, что мысленно видел ее подле себя всегда и торопил утро, чтобы встретиться с ней снова.

Однажды, когда они возвращались после купания, на них обрушился, как это часто бывает в яркий летний день, внезапный, короткий ливень. Они спрятались под деревом, Даша прижалась к нему и сказала:

– Как я люблю дождь. Он такой чистый и светлый. Люблю на него смотреть из окна или идти под зонтом по дороге. Я всякую погоду люблю: и солнце, и дождь, и снег. Если у меня хорошее настроение, я радуюсь, а если плохое, то только не от погоды.

Почему-то Илью поразили эти слова.

Вечерами он провожал ее домой и на прощание уже смелее прижимал к себе, осторожно целовал сладкие ее губы и щекотал губами завитки каштановых волос на шее, там, где сильнее билась голубая жилка. Даше становилось душно от его рук и губ, и жар поднимался от ног к животу и растекался по рукам к груди, и огнем окатывал лицо. Слабость и истома спутывали ноги, и изнутри бил озноб до дрожи в пальцах. Они расставались до следующего утра, но всю ночь не оставлял ее трепет его прикосновений, и горячий уголек жег грудь, а губы хранили и причмокивали во сне пряность его поцелуев.

Они часто заходили к дяде Игорю. Там Илья начал писать Дашин портрет. На эскизы будущих пейзажей он разрешал ей взглянуть, на портрет нет. Тем сильнее раздувалось в ней любопытство: что же там, какая она со стороны, какой он видит ее?

Им нравилось гулять в дядином саду. Им нравилось стоять у обрыва, взявшись за руки, и молча смотреть вниз, вдаль. Им казалось, что с каждым глотком парного воздуха вся красота вокруг вливается в них и передается им покоем и солнечным, ярким ощущением счастья.

Дядя накрывал на стол в беседке, а потом они пили чай и слушали его рассказы о войне. Для них это стало чем-то вроде ритуала, еще больше сближающего их.

– В первый год войны довелось мне плыть в ледяной воде зимой. Это было во время боев за Крым. Между Керчью и Феодосией высадился наш десант, но продержался недолго: полмесяца. Был январь, на море шторма, а с суши наступают немцы: пути снабжения перерезаны, пополнение прислать невозможно. Тогда те, кто остался в живых от этого десанта, прорвались с боем в Керчь и закрепились на горе Митридат. Наша бригада окопалась недалеко, и две роты, мой взвод в том числе, было приказано послать со стороны Керченского пролива им в помощь, обеспечить отступление. Людей эвакуировали на катерах, но вскоре немцы подтянули силы, выбили нас с горы Митридат, и мы, те, кто остался, спустились к бухте. В учебниках написано, что удалось эвакуировать всех, нет, не всех. Немецкие катера уже были в Керченском проливе, правда, и наши «охотники» еще оставались в бухте. С суши наступала немецкая пехота, деваться было некуда: или вплавь, в море, или пулю в лоб. Сдаваться не собирались – это та же смерть, только позорная. Я и еще один боец нашли бревно, сняли с себя ремни, привязали себя за одну руку к бревну, а второй гребли. Было 15 января, вода – 7 градусов. Сколько можно в такой воде продержаться? Мы были не одни, рядом на бревнах плыли еще человек сорок-пятьдесят. Сколько из них выплыли, не знаю. А немцы высвечивали нас прожекторами и стреляли. Напарника моего убило. Я его отвязал от бревна и поплыл дальше. Меня подобрал наш катер. Неделю я пролежал с воспалением легких и опять на передовую, на ту же высоту, где оставалась моя часть. Там уже меня ранило, ранило два раза подряд, я двадцать дней провалялся в госпитале, а потом на десять дней получил отпуск и поехал домой, к родителям. Меня там уже не ждали: незадолго до этого получили на меня похоронку. Мать, увидев меня, чуть в обморок не упала, море слез выплакала. Так вот получилось: когда меня ранили, я упал, и никто не видел, как меня оттащили. В том бою масса людей полегла, высота то к нам, то

к немцам переходила. А когда бой кончился, меня уже в госпиталь отправили. Вот и подумали, что я погиб.

Илья присел рядом с Дашей. Что-то он раньше слышал от дяди, когда тот приезжал к ним в Москву, но многого не знал. Странно было видеть перед собой человека, которого давно могло бы и не быть, так спокойно и отстранено рассказывающего о смерти.

– Да, меня словно всю войну кто-то оберегал. Хотя случаев смертельных много было.

Игорь Васильевич помолчал. С его лица давно стерлись тревоги и раны, они будто ушли вглубь, но не исчезли и не забылись.

– Почему-то память особенно цепко держит те пограничные мгновенья, миг, отделяющий жизнь от смерти.

Мы форсировали Вислу. Были большие потери. Мост был полуразрушен, и в тех местах, где образовались провалы, настелили доски. Я со своим взводом был на мосту, когда начался авиа налет. Мы упали плашмя на доски, а рядом рвались бомбы. У меня через плечо была перекинута полевая сумка, в ней пачка тетрадей и карандаши – письма домой писать. Налет закончился, все солдатики целы, а сумка моя изорвана. Карандаши сломаны, а в тетрадях осколок застрял, еще горячий. Они меня и спасли, перерубило бы меня пополам этим осколком.

Даша смотрела на Игоря Васильевича заворожено, как на человека не из этой жизни, из другой, страшной, придуманной.

– Как-то в меня стрелял снайпер. Пуля царапнула по груди и разорвала гимнастерку. Пять сантиметров в сторону и прошло бы меня насквозь.

Да, кто-то меня берег, – повторил Игорь Васильевич.

Он стал задумчив и замолчал. Притихли и Даша с Ильей. В прозрачной тишине стрекотали цикады и пели птицы. Солнце било в чашки на столе и в окна, воздух хотелось глотать и смаковать, как конфету. Война казалось далекой и нереальной, как страшная сказка на ночь.

– Мне до сих пор часто снится один и тот же сон. Я сталкиваюсь с фашистом лоб в лоб, выхватываю пистолет, жму на курок и с ужасом понимаю, что у меня нет патронов, и сейчас выстрелит он. Тогда я просыпаюсь.

Даша прощалась до завтрашнего дня с Игорем Васильевичем, Илья стоял рядом, а дядя смотрел на них как-то особенно, но ничего не говорил. И им вдруг обоим почудилось в его взгляде то, что он, может быть, хотел им сказать: «Подумайте, как хрупка и мимолетна жизнь. Не упустите ее, не пропустите это мгновение. Оно может никогда не повториться.»

В этот вечер они, не сговариваясь, повернули от города туда, где сразу за околицей расстиались луга, вырастали леса. Перламутровый закат красил кромку неба. Душисто пахло скошенной травой. Они тихо, молча брели в сумеречную прохладу, где уставший день прятал в лесной черноте свое лицо. Таинственные тени расчерчивали тропинку, сверху перешептывались и судачили о них деревья, и бархатная трава манила их прилечь и забыться. Ароматы полевых цветов кружили голову, и голосистый соловей выводил свою любовную трель.

Губы прильнули к губам, лицо утонуло и задохнулось в сладком запахе волос, ладони стиснули ладони и прижались к груди, ноги переплелись и не хотели уже расставаться. Одежды мешали кожей ощутить кожу, и они сбросили их. Аромат горячего тела смешался со свежестью травы и пряностью лугов и задурманил, закружил их в объятьях. Подступающая летняя ночь окутала их легким одеялом и спрятала от посторонних глаз.

На следующий день они опять пришли к Игорю Васильевичу, но по блеску в глазах, по мимолетному прикосновению рук, даже по походке, казалось бы, порхающей, в них чувствовалась перемена.

После обряда чая, в лучах склонившегося к горизонту солнца, Игорь Васильевич сказал:

– Мне хочется рассказать вам историю, связанную с этим самым местом, на котором мы сидим, на котором стоит дом, легенду об Акулине.

Даша, вы ничего о ней не слышали?

– Нет, расскажите, пожалуйста, – и Даша, как маленькая девочка в ожидании сказки, едва удержалась, чтобы не захлопать в ладоши.

– Здесь, на высоком холме у слияния двух рек, в этом красивейшем месте долго никто не строился. Мой отец, твой дед, Илюша, переехал сюда из Суздаля после революции, решил тут обосноваться и выстроил этот дом. Намного позже он узнал, что место это считалось проклятым, ведьминым, и здешние люди избегали и побаивались его. Ведьму звали Акулина, а сама эта история насчитывает уже триста лет.

В конце XVII века эти земли принадлежали молодому князю Борису Куракину. Он был известным транжирой и гулякой. У него был дом в Москве, и сюда он приезжал редко. На этом самом месте, где мы с вами теперь чаевничаем, стоял его охотничий домик или усадьба, точно уже неизвестно, но наезжая в эти края, он останавливался именно здесь. На месте нашего городка располагалось большое село Яковлевское, довольно богатое, и крестьяне, жившие в нем, были крепкими, даже зажиточными по тем временам. Были у них большие наделы земли, а зимой при доме они работали на ткацких станках и неплохо зарабатывали.

Жила в этом селе молодая пара: Петр и Акулина, красивые, ладные, приветливые, открытые, на людях, как говорили. Детей у них не было.

Был однажды князь в селе наездом и случайно увидел Акулину. Увидел и влюбился в нее. Но, видно, не захотел шума поднимать и решил ею тайком завладеть. Точно не знаю, какая тогда война шла, с турками, наверное, но Петра в один из худших его дней схватили и забрили в солдаты. Домой он уже никогда не вернулся, сгинул на чужбине. А к Акулине князь частенько стал приезжать, только не давалась она ему, хоть он и князь.

Тогда в одну ненастную ночь он приказал своим холопам привезти ее силой. Сюда, к этому обрыву, в его хоромы и привезли ее. Он пировал с друзьями и был сильно во хмелю. Встала она перед ним и говорит: «Будь ты проклят, князь, если тронешь меня. Дом твой сгорит, а имение свое потеряешь.» Только не встревожили эти слова князя. Он уже изнемогал от желания, и ее дикая красота, горящие глаза, яростные слова только распалили его. Он схватил ее на руки и понес в спальню.

Рано утром видели, как молодая женщина выбралась из окна и бросилась с обрыва. Тело ее искали, но не нашли. А днем загорелся дом, будто подожгли его с четырех сторон. Князь в эти края больше не возвращался, а через год проиграл в карты свое имение.

Земли выкупил Ипатьевский монастырь, потом они еще кому-то перешли, но на пепелище до моего отца никто больше не строился, и место считалось заколдованным. То ли Акулина оборотилась в русалку, то ли в ведьму, но рассказывали, что ночью или рано-рано утром, когда только плесканет белесой пеленой на землю, она выходит из воды и сидит на этом обрыве, как Аленушка со знаменитой картины Васнецова.

Вот такая любовная трагедия. Правда, я никогда не видел эту Акулину.

Лето клонилось к закату. Но для Ильи и Даши календарь перестал существовать. Они не замечали ни все чаще набегавших на небо туч, ни ранних сумерек, неумолимо съедающих день, ни первых пожелтевших листьев на клене. Они были до головокружения пьяны собой и прекрасно безразличны к окружающим. Их дни и ночи перемешались и перепутались, как старый невод, их любовь до слез, до боли, до немоты перехватывала горло и сильнее заставляла биться сердце, их страсть вспыхнула, как сухие поленья, готовые к топке, время остановилось и сделалось бесконечным.

Как-то Даша привела Илью к себе в дом и познакомила с мамой.

– А, вы тот самый москвич, художник и племянник Бирюка, – сказала она без осуждения и без восторга в голосе.

– Мама!

– Садитесь за стол. Я колобушек напекла.

Марья Ивановна оказалась доброй и хлебосольной женщиной. Можно даже сказать, что Илья ей понравился.

– А как же твои экзамены? – обратилась она к Даше.

– На следующий год поеду. Поработаю годик.

Марья Ивановна только покачала головой.

Лето оборвалось осенними дождями неожиданно и недосказано. Они будто очнулись от сказки и, посмотрев в окно, увидели, что лето кончилось.

Перед отъездом Илья подарил Даше завернутый в тряпку холст.

– Обещай, что посмотришь, только когда я уеду.

– Обещаю.

Поцеловав Дашу в заплаканные глаза и в через силу улыбающиеся губы, Илья уехал в Москву.

II

Прошел месяц, другой. Писем от Ильи не было. Даша пошла работать на завод. Она часто забегала к Игорю Васильевичу, и тот не скрывал своей радости, видя ее.

– Только ты меня, Дашенька, и балуешь своим вниманием.

– Игорь Васильевич, вам Илюша не писал? – и оглядывалась беспомощно, будто надеясь вдруг увидеть его в углу.

– Дашенька, милая, он никогда не писал мне прежде и вряд ли напишет. Не расстраивайся ты так. Он художник, он не любит писать писем. А тебя он любит, это я точно знаю.

– Он говорил вам?

– Нет, я видел, как он смотрел на тебя. Никакие слова не нужны.

Даша успокаивалась на время.

– Спасибо вам.

– За что? Это тебе спасибо. Ты – добрая.

Даша убегала, а через неделю или раньше вновь заходила к Игорю Васильевичу, будто по дороге. Ей был мил этот дом воспоминаниями и незримым присутствием Илюши.

Вечерами она сидела одна перед написанным Ильей портретом и пыталась увидеть в нем себя его глазами.

На портрете за столом в беседке сидела девушка, а за ее спиной тонкой, расплывчатой полосой растекались поля, леса и небо. Они были фоном, а стол лишь оттенял руки, лежащие на нем. Картина была написана так, что внимание зрителя сразу притягивало лицо девушки, ее глаза, прежде всего, потом взгляд скользил по распущенным волосам, шее, груди и снова останавливался на руках. Лицо и руки – вот что было главным на портрете.

Даша это почувствовала и теперь старалась понять себя и его, будто он ей оставил ребус, который во что бы то ни стало надо было разгадать. Иногда ей приходила в голову странная мысль, что он ждет этой разгадки и потому не пишет, и когда она догадается, что он ей хотел передать своим портретом, он тут же приедет к ней.

В какой-то момент ей показалось, что смотрит не на себя такую, какая она есть, а на ту, какой он хочет ее видеть.

Глаза на портрете были внимательные, яркие, быстрые, как искры. В лице чувствовалась доброта и покой, улыбка пряталась в кончиках губ, а длинные, плавно стекающие на плечи волосы, придавали мягкость. Руки были белыми, нежными, заботливыми.

На портрете она была очень на себя похожа и была другой. На портрете она себя увидела новой, созревшей, посерьезневшей, думающей.

Через три месяца от него, наконец, пришло письмо.

Даша пыталась унять дрожь в пальцах, открывая конверт, и не могла. Она держала перед глазами исписанный листок, а строчки прыгали и сливались. В конце концов, они выстроились, как и положено, в ряд, и Даша принялась читать.

«Любимая моя Дашенька!

Прости, что долго не писал: было много учебы и работы. Но это совсем не значит, что я о тебе не думал. Ты всегда у меня перед глазами, и ты даже представить себе не можешь, сколько набросков и рисунков твоего лица и тебя в полный рост, и в движении, и в просвечивающем на солнце платье, и вообще без платья, я сделал, сидя дома этими осенними вечерами.

Осенью меня всегда угнетают дожди и серость за окном. Осенью я болею душой. Наверное, не писал еще и поэтому: не хотел, чтобы ты услышала в моих словах тоску и пустоту. Теперь другое дело: побелело от снега и посветлело на сердце. И я хочу, чтобы ты услышала мою нежность и мою любовь к тебе. Я много думал о нас и о нашей любви. И сейчас могу с уверенностью сказать, что люблю тебя, люблю, потому что ты – настоящая. Это такая редкость и такое счастье, что я тебя нашел.

У меня грандиозные планы касательно нас и нашего будущего. Я тебе о них расскажу, когда приеду. Скоро у меня каникулы, и я собираюсь к тебе на Новый год. Я очень хочу, чтобы мы его встретили вместе. Я знаю: следующий год – это будет наш год.

Не умею писать длинные письма. Это и не нужно, наверное. Ты у меня умная, ты все понимаешь.

Целую тебя крепко-крепко, нежно-нежно. До встречи.»

Даша прижимала листочек к груди и целовала его, даже нюхала, словно это письмо еще хранило его запах. «Любит, любит, любит, – без конца повторяла она. – Скоро приедет, уже совсем скоро.»

Она вдруг засуетилась и стала прибираться по дому, будто уже завтра он будет здесь. Она побежала в комнату к матери.

– Мама, испеки колобушек, что-нибудь вкусненькое. Илюша приезжает.

– Когда? Завтра?

Марье Ивановне тоже передалось это предпраздничное волнение. Она встала и беспокойно огляделась, словно взглядом проверяя, все ли готово к приезду гостя.

– Нет, мама, на Новый год!

– Уф! Что же ты меня так пугаешь. Я уж думала завтра, как снег на голову.

– На Новый год! На Новый год! Давай придумаем, что бы приготовить. Купим елку, я украшу. Надо побежать к Игорю Васильевичу, сообщить, пригласить его.

– Сядь-ка, успокойся. Новый год еще через месяц. На сколько он приезжает?

– Дней на десять, наверное. У него каникулы.

– Да присядь ты, егоза. Дай подумать.

Марья Ивановна села на стул и оглядела дочь с ног до головы, как бы привериваясь* к ней.

– Мне показалось, что он парень серьезный, хоть и москвич. Погоди. Они там все шалопайи и хорохорятся, как петухи. Но он, вроде, ничего. Про тебя и говорить нечего. Вон, шило

в одном месте так и свербит. Что я, слепая? Видела, как ты места себе не находила, пока от него письмо не пришло.

Значит, так. Мы с тобой все приготовим, приберемся, елку нарядим и вместе старый год проводим. Закуску и горячее припасешь* и к Бирюку заранее отнесешь. Вы там Новый год встречайте, там вам лучше будет. А я к подружкам уйду праздновать.

– Мама!

– Помолчи. Я вот что надумала. Первого, на все праздники, я к тете Вале в Толпыгино поеду, я ее предупрежу. А вы здесь эти дни поживите без меня. Приверитесь* друг к другу, я не хочу вам мешать.

– Мама, какая ты у меня добрая.

– Погодь. Не знаю уж, как там у вас дальше сложится, но на соседей и их пересуды внимания не обращай. Я сама скажу: мол, жених приехал.

– Мама, мама, – Даша не находила слов и вертелась, как белка, вокруг стула, на котором сидела мать.

– Вот и решили.

– Привериться – присмотреться (Ивановский диалект)

– Припасти – приготовить (Ивановский диалект)

III

Дом на стрелке показался Илье постаревшим, поседевшим от снега, будто съезжившимся до весны. Дни стояли хмурые, солнце не показывалось много дней, во дворе выросли сугробы до пояса. Сам городок тоже как-то помельчал, поскущел, врос в землю. Прохожих на улице было мало, и создавалось впечатление, что сразу с работы люди невидимо переносились домой и прятались там до утра. К празднику город немного проснулся, оживился. На главной площади поставили елку, стало веселее.

Илья приехал за два дня до Нового года, в первый вечер долго вечерял с Дашей и Марьей Ивановной, но остановился у Игоря Васильевича. Эти первые дни по приезду, встреча и прогулки с Дашей по городу прошли как-то скованно и скомкано, не так как он хотел, как представлял себе. Даша тоже была более задумчивой и напряженной с ним, но радостную улыбку, так и прилепившуюся к ее губам после их встречи, скрывать не могла.

Когда сидели за столом, Марья Ивановна расспрашивала гостя об учебе, о его работах, но ни словом не обмолвилась о его планах и отношениях с Дашей. Даша поминутно вскакивала и что-то приносила на стол, что-то придвигала к нему поближе.

В углу стояла елка и заговорщицки им подмигивала зелеными, красными и желтыми лампочками. Глядя на нее, становилось спокойнее, теплее, и постепенно вырастало ощущение, даже уверенность, что через два дня Новый год, и тогда все изменится к лучшему.

Игорь Васильевич Илье обрадовался, Дашу встретил, будто они расстались накануне. Собственно, так и было. За последний месяц она заходила к нему много раз, даже показала издали Илюшино письмо, словно он мог ей не поверить. Она сама выбрала елку для этого дома, они вместе определили место для нее, сама украсила ее любовно, тщательно, не торопясь, а Игорь Васильевич сидел рядом и любовался не столько елкой, сколько Дашей.

31 декабря, когда Марья Ивановна вышла на минутку к соседке, Илья с Дашей, наконец, остались одни. До этого как-то не получалось, даже целовались украдкой: рядом всегда были или соседи, или знакомые.

Даша присела к нему на колени и прижалась к нему. Сейчас она казалось старше и расудительнее. Она отстранилась немного, посмотрела в глаза, провела ладонью по его волосам.

– Милый мой, милый. Как я по тебе соскучилась.

– Дашенька, – он выдохнул ее имя, как заклинание, и словно задохнулся.

– Завтра мы уже будем вдвоем, только ты и я. Мама уезжает на праздники к тетке.

Будто солнце выглянуло из-за туч, и камень скатился с груди. Даша была близка и желанна. Пальцы медленно скользили вниз вдоль позвоночника, и сквозь платье Илья почувствовал, как зыбкая дрожь пробежала по ее спине. Он уткнулся лицом в ее волосы, они пахли летом. Как мало нужно слов, чтобы мир из серого стал светлым. Как немного надо, чтобы в настоящем, как надежда, блеснуло будущее.

Четыре месяца в Москве пронеслись у него сумбурно и незаметно. Первые несколько дней после возвращения в Москву голова кружилась в эйфории воспоминаний. Он закрывал глаза и видел напротив Дашино лицо, а ночью во сне он гладил ее бедро, целовал губы и грудь и млеял от блаженства любви. Постепенно страсть его стала не то чтобы забываться, но таять и прятаться в глубине сознания. Он лукавил, когда писал ей, что не хватает времени. Да, он много работал, много занимался, но эти напряженные будни давно стали обычными и смешивались с застольями в кругу друзей, и скрашивались вечеринками в обществе привлекательных девушек. Даша у него была далеко не первой. Он был молод, здоров, недурен собой и полон амбиций. Он еще не вошел в узкий круг художников, поэтов и артистов, но был уже в ближнем круге. До своего летнего путешествия всеми мыслями он был среди московской богемы. Теперь, наконец, туда вернулся. Но окунувшись в прежнюю привольную жизнь, Илья вскоре понял, что воспринимает ее не так, как раньше: не бездумно, не легко. Что-то удерживало его, что-то мешало. Он не сразу догадался, что дело было в нем самом, в том, как он сначала бессознательно, а потом более осмысленно принялся сравнивать. Прежде всего, сравнивать, позже размышлять. Он видел вокруг себя красивых, элегантных, смеющихся девушек – они не изменились, но ему они неожиданно стали казаться фальшивыми, неестественными, искусственными, как мишура. Глядя на них, он вдруг определил для себя, что они делятся на два вида. Одни хотят от него, как и от других мужчин, наслаждений, страсти и бесконечного вальса с шампанским. Другие расчетливей: они пытаются заглянуть в будущее и рассмотреть в нем перспективы своего претендента. Дамы этого второго сорта не спешат, их цель – женитьба, и они, как саперы, осторожно двигаются к ней. И тот, и другой вид окружающих его женщин схож в одном: вместо приманки и аркана они выставляют зад, ноги и грудь. Когда он думал об этих женщинах, ему невольно вспоминалась заводная, непосредственная, безыскусная, открытая Даша.

Теперь, когда он слушал рассуждения своих друзей об упадке классицизма и преимуществах западного авангардизма, они ему начинали казаться бесполезным умствованием. Споры о Малевиче, Кандинском и Пикассо, в которых раньше он принимал живейшее участие, ныне утомляли его бесконечным повторением одних и тех же штампов. Приглушенные вздохи о заграничных вещах и пластинках, о том, как там красиво загнивают, почему-то сравнивались в памяти с рассказами дяди Игоря о войне и казались пустыми и никчемными.

Прошло два месяца, ему стало скучно в своей компании.

Осень стучалась дождем и голыми ветками в окно. Он чаще оставался дома и чаще думал о Даше. В своем воображении он представлял, как она бежит по лугу в светлом платье, распахнув руки ему навстречу. Она сама была, как светлое пятнышко, разрастающееся в его голове и постепенно заслоняющее собой дымную патоку студенческих вечеров.

И вот с этого времени Илья стал грезить о Даше постоянно и рисовать ее карандашом на бумаге. Он набрасывал то, что видел в своей памяти, и то, что придумывал о ней: чаще с обнаженной грудью, распущенными волосами и оголенными бедрами. Ему вспоминалась дядина легенда об Акулине, и он придумывал Дашино лицо с пронзительными ведьмиными глазами.

Выпал первый снег. Илья понял, что хочет быть с ней и уже не представляет себе жизни без нее. И вслед за этим внутренним решением он принялся строить планы их совместной жизни.

Стоит сказать, что, несмотря на некоторый богемный налет, привнесенный его институтской жизнью, и, в меньшей степени, привязанность к вещам, что было, скорее, данью времени, Илья Андреевич не был по своей природе ни стяжателем, ни развратником, а наоборот – наивным и безалаберным мечтателем. Он шагал по жизни легко, удачливо, и будущее представлялось ему таким же. Теперь в своем безоблачном и предсказуемом будущем он видел рядом с собой Дашу. «Встретить Новый год с Дашей и посвататься», – решил он.

Оформившаяся в голове мысль принесла некоторое успокоение и равновесие в душе. Он сел писать письмо и придумывать подарок для Даши.

Дымка московских месяцев, раздумий и решений развеялась, и Илья снова оказался рядом с Дашей, далеко от Москвы, будто на другом конце света.

Она смотрела на него и улыбалась.

– Я уже знаю, что ты иногда пропадаешь. То есть ты здесь, а мысли твои Бог знает где.

– Я думал о том, как я тебя люблю.

В голову ему пришло интересное заключение. Как наше восприятие и людей рядом с нами, и всего того, что нас окружает, зависит от нашего мимолетного настроения, от нас самих. Только что надуманное и придуманное им в Москве оборачивалось на деле не таким хрустальным и праздничным, как он воображал, мир представлялся таким же серым, как небо над головой. Но неожиданно мир преобразился и стал ярким и ослепительным, как новогодняя елка, хотя ведь ничего не изменилось.

Провожали старый год втроем. В нем оставалась их встреча, а чувства их переходили в новый.

В одиннадцатом часу Марья Ивановна засобиралась к подругам, а Даша с Ильей пошли к дяде. Игорь Васильевич их ждал. Марья Ивановна была права, когда говорила, что им будет приятнее встречать Новый год с Бирюком. В этом доме почему-то они оба чувствовали себя раскованнее.

Даша еще что-то готовила, припасенное заранее доставала из холодильника и накрывала на стол. Дядя Игорь и Илья старались ей помогать, но, кажется, больше мешали. Илья про себя отметил, как ловко и споро у Даши все получалось. Ему это было приятно, даже как-то домашнему уютно сделалось на душе.

Они успели еще раз проводить старый год. Вспомнили вечера в беседке прошлым летом. Часы пробили двенадцать. Они встали, чокнулись шампанским в зазвеневших бокалах и загадали желание.

Даша вдруг всплеснула руками и бросилась вон, в прихожую. Своими стремительными движениями она напоминала грациозную молоденькую козочку. Илья смотрел на нее, и такая щемящая нежность трогала сердце, что, наверное, впервые он ощутил и подумал: это огромное, солнечное чувство, переполняющее его, и есть любовь.

Дашин голос зазвенел колокольчиком.

– Подарки, подарки, – повторяла она, доставая коробки.

Илья с ужасом вспомнил, что он забыл приготовить подарок дяде, Даше выбрал, ее маме тоже, а про дядю не подумал.

Даша вынула фотоаппарат последнего образца с какими-то зеркалами и автоматикой, в которой она плохо разбиралась, и протянула его дяде Игорю.

– Игорь Васильевич, мы с Илюшей поздравляем вас с Новым годом. Желаем здоровья и счастья. Это от нас.

Илья начал понимать, что сделал правильный выбор относительно своей будущей жены. Илье Даша протянула перевязанную бантом коробочку.

– Открой, Илюша. Я тебя поздравляю.

В бархатной бордовой коробочке на подушечке в маленьких углублениях лежали серебряные запонки с круглой темно-зеленой яшмой в середине и серебряная булавка для галстука.

Илья ахнул. Он поцеловал Дашу, не стесняясь Игоря Васильевича. В голове выстроилась цена, которую она заплатила, и догадка, что Даша многие месяцы думала об этих подарках, откладывала на них деньги и долго их искала и выбирала.

Но разве в деньгах было дело? Разве можно было их даже сравнивать с тем удивлением и восторгом, с той любовью и радостью в глазах, что нельзя купить ни за какие деньги. Что приятнее: дарить или получать подарки? Кому как. Но и то, и другое, несомненно, прекрасно, когда они от души.

Илюша засунул руку в карман и тоже вытащил маленькую коробочку. В ней горело золотое кольцо с бриллиантом.

– Примерь.

Даша просунула пальчик в кольцо, и оно оказалось впору. Неожиданно она расплакалась, обняла Илью и уткнулась ему в плечо.

– Мне никогда, никогда никто такого не дарил, – каждое слово вылетало отдельно, прерывисто, сквозь рыдания.

– Дашенька, успокойся, ну что ты.

Она на секунду отняла лицо от его плеча и прошептала прямо в ухо:

– Я тебя очень, очень люблю.

И снова уткнулась в него и заплакала сильнее, вздрагивая плечами.

– Подождите, друзья мои. Даша, перестань плакать. У меня для вас тоже есть подарок. Он один на двоих, но я думаю, это правильно.

И Игорь Васильевич вытащил откуда-то из-за дивана коробку уже побольше. В ней оказался знаменитый чайный сервиз «Мадонна», за которым в те годы охотились все советские люди. Они, осторожно беря в руки, рассматривали на свет чашечки и блюдечки и передавали каждую из них друг другу.

Эта была волшебная ночь подарков, коробок и коробочек.

Когда все встали из-за стола, а Игорь Васильевич присел на диван перед телевизором, Даша с Ильей вышли во двор – на мороз, показавшийся им горячим, чистым и сладким.

Илья привлек ее к себе и прошептал, хотя никто не мог их услышать:

– Я тебя люблю. Выходи за меня замуж.

Она уткнулась куда-то ему в грудь, подняла глаза к его глазам и ответила заветное:

– Да.

Из-за туч выплыла луна и нечаянно подсмотрела и подслушала их признание в любви.

Об этом было незамедлительно сообщено Игорю Васильевичу, и были не раз за эту счастливую ночь подняты бокалы в их честь.

Наутро, когда они вернулись домой, об их решении узнала и Марья Ивановна. Она их перекрестила и благословила: «Будьте счастливы, дети», – и снова накрыла на стол, и расцеловала их, и усадила рядом.

Новогодняя ночь эта показалась нескончаемой, сказочной, но никто не уставал от нее. Они успели вздремнуть, погулять по безлюдным улицам, проводить на автобус Марью Ивановну, и уже совсем поздно Даша застелила свежим бельем постель, и они, наконец, легли в свое брачное ложе.

Закружились в зимней метели и в редких ясных часах, в любви короткие праздничные дни и ночи. Днем они катались на лыжах по заснеженному сосновому бору. Деревья, как мачты корабля, упирались в распогодившееся голубое небо и в январское торопливое блеклое солнце. Лыжи шли легко и катились гладко по пологой, длинной горке вдоль берега Волги. Они останавливались, уходя с лыжни, подальше от посторонних глаз, чтобы съехаться лыжа в лыжу, обняться, согреться друг о друга и поцеловаться в морозные щеки и теплые губы.

За обрывом, внизу, затянутая в лед Волга разлеглась белым тюлем до избышек на другом берегу. Сосны, покачиваясь зелеными верхушками, что-то шептали, скрипели и кряхтели. Благодарить, тишина, белизна, чистый воздух и свежесть морозного дня дарили покой и целый мир, и он представлялся огромным и бесконечным, как жизнь, и принадлежал, казалось, только им одним.

На третий день Даша сказала:

– Давай поедем сегодня в Толпыгино, к маме. Ей будет приятно, что мы приехали. А у тети Вали всегда весело, собирается родня, песни поют. Ты таких песен и не слышал, тебе понравится. Послезавтра на работу. Заберем ее оттуда и вместе домой поедем. Ты как?

– Да я с тобой хоть в Толпыгино, хоть куда.

Это правда, такого застолья Илья не видывал никогда. Он был в восторге. Ему всегда нравились шумные компании, но здесь все было особенным, другим: простым, искренним, душевным. Наверное, люди в этих краях жили по-другому – более открыто, доброжелательно и бесхитростно. На столе стояли бутылки беленькой, в комнате гудел незлобивый галдеж, а молодые бабенки и те, что постарше, и совсем старые, видно, много раз спевшиеся и сладившиеся между собой, затягивали песни. Мужики иногда подхватывали, но вели бабы на несколько голосов:

Вот кто-то с горочки спустился —
Наверно, милый мой идет,
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.

Они пели, глядя друг другу в глаза, протяжно, душевно, серьезно, немного подвывая. Наверное, только в русских деревнях еще умеют так петь: безоглядно, самозабвенно, с надрывом, сердцем.

Его Даша пела вместе с другими, и казалось, что она была далеко, словно окунулась в песню, как в воду, и в то же время Илья думал, что она поет о нем, о любви к нему, для него. Это было сладкое, упоительное чувство радости и какой-то неведомой доселе душевной свободы.

Свадьбу назначили на лето. Зимние каникулы подошли к концу. Они расставались на несколько месяцев.

IV

Свадьбу пришлось отложить. Весной умерла Марья Ивановна. Она умерла внезапно, без всяких признаков болезни. Будто ворвался ветер в распахнутую дверь и задул свечу. Она была энергичной и жизнелюбивой. Даша вспоминала, как она зимой, в валенках на босу ногу и в полушубке, накинутом на халат, бегала с ведрами на колодец. Она заботилась обо всех, кто был рядом, лишь на себя не обращала внимания. Даша рассказывала, что у нее было высокое давление, и врачи советовали лечиться. Куда там. Она умерла неожиданно, еще совсем молодой.

Илья приехал на похороны. Отпевали Марью Ивановну в Красинском, ближней к городу деревушке, откуда она была родом. Священник Михаил стоял у гроба с кадилом, а она лежала спокойно и тихо, и белое лицо ее было серьезно. Словно смерть согнала с ее губ обычную приветливую улыбку и заставила в последний раз задуматься: а так ли, как надо, как хотелось бы, она прожила свою жизнь? А все ли, что было задумано, что хранилось на сердце, она исполнила? Все ли передала и завещала единственной дочери? Всему ли научила ее, чтобы не так трудно и одиноко было ей жить на земле?

Даша стояла у гроба, в последний раз смотрела на маму большими, чуть удивленными от этой несправедливости глазами, и беззвучно плакала.

Илья стоял рядом, глядел в закрытые глаза Марьи Ивановны и видел ее живой, суесящейся на кухне, усаживающей его за стол, мелко крестящей их с Дашей в родительском благословении. И слышал ее мягкий голос: «Будьте счастливы, дети». Он знал, что она очень любила Дашу, полюбила и его, будущего зятя, и был благодарен ей за ее понимание, доброту и любовь.

Марью Ивановну похоронили на деревенском кладбище, среди берез, на высоком берегу Тахи. Солнечные блики прыгали на могиле и, как могли, утешали живущих.

Были поминки. Даша сдерживала слезы, а когда они остались вдвоем, уткнулась в Илюшино плечо и зарыдала в голос. Илья гладил ее по головке, держал за руку и не находил слов утешения. Нет таких слов.

На следующий день он ей сказал:

– Дашенька, поехали со мной в Москву. Нельзя тебе одной здесь оставаться.

Она покачала головой:

– Нет, Илюша. Поезжай. Заканчивай институт и возвращайся. Я тебя буду ждать.

И снова они расстались. Бог ли испытывал их, судьба ли так распорядилась, но пришлось ждать и верить.

V

В повседневных трудах, в расставаниях и встречах промелькнул еще один год. Илья окончил институт и на месяц приехал к Даше. Было решено, что в свой отпуск она поедет в Москвузнакомиться с Илюшиными родителями, а потом они поженятся.

Как так получилось, что до сих пор она их ни разу не видела, Даша не понимала. Она не расспрашивала о них, а он не рассказывал. Будто и в самом деле, Москва была очень далеко и жила своей отдельной жизнью, в которой были он, его родители, его сестра, а их совместная жизнь в маленьком городе шла, как бы, сама по себе. Теперь он сам заговорил об этой встрече.

– Я хочу тебя познакомить со своими. Поженимся, проживем первое время у них, а там посмотрим.

Даша соглашалась. Нельзя сказать, что она соглашалась с Ильей во всем: она прислушивалась к нему всегда, но имела и свое мнение и мягко отстаивала его, когда считала нужным. Между ними так счастливо сложилось изначально, что они умели слушать друг друга и соглашаться.

Даша никогда не была робкой девушкой, но перед встречей с Илюшиными родителями волновалась, как перед экзаменом.

Андрей Петрович Головин оказался радушным и доброжелательным человеком. Илюшина мать – Зинаида Васильевна, была женщиной строгих правил и показалась Даше внимательной, но властной и, как бы, оценивающей ее свысока.

Московская трехкомнатная квартира оказалась просторной. Илюшина сестра, старше его на пять лет, была замужем и жила отдельно. На званый обед она приехала вместе с мужем, человеком молчаливым, который напоминал Даше актера без слов, бесшумно появляющегося на сцене в начале и в конце спектакля.

Обед протекал чинно, как затянувшаяся шахматная партия, в которой противники делают ни к чему не обязывающие ходы и не рискуют взять на себя инициативу. Илья ерзал на стуле, скучал и с нетерпением ждал окончания банкета. Дашина робость прошла, и ей стало смешно от этого благолепия, хоть она и старалась оставаться серьезной.

Когда все закончилось, и Даша с Ильей вышли погулять, она обняла его и сказала:

– Милый, у тебя прекрасные родители, но если мы будем жить в Москве, нам лучше снимать квартиру.

Илья смутился немного, а потом рассмеялся.

– Ладно тебе, что-нибудь придумаем. Женщины ведь всегда в своей голове разбирают соперниц по косточкам. Так ведь?

И тогда Даша тоже засмеялась, и с этим давно сдерживаемым смехом ушли и скованность, и неловкость, и обида, и стало легко-легко.

Свадьба была скромной и скоротечной: расписались в районном ЗАГСе, посидели вечером за родительским столом, а наутро, вырвавшись из тесных семейных объятий, отправились домой, за четыреста километров от Москвы.

Даша понесла, будто только и ждала формального оформления их отношений. Илья не отходил от нее ни на шаг. Он писал ее портреты и иногда ездил на Волгу, на пейзажи. Он бродил по набережной, глотал незадымленный машинами и трубами воздух и ловил себя на мысли, что ему совсем не хочется возвращаться в Москву. Предыдущая жизнь, родители, друзья и подруги отодвинулись на второй план и заслонились Дashiной беременностью и неясными надеждами на будущее. Он поднимался на Соборную горку и окидывал взглядом карабкающийся по холмам город, домик Левитана, деревянную церквушку над вечным покоем и бескрайнюю Волгу, раскинувшую вправо и влево темные руки.

Что-то переменилось в его осознании себя и мира вокруг. Поменялась первостепенность вещей и ценностей. То, что совсем недавно казалось главным и единственно важным, сегодня помельчало и сделалось несущественным и даже ненужным. Еще вчера ему мерещилась за ближайшим поворотом судьбы радуга славы, признания, творческих выставок, зарубежных поездок и проистекающего из них достатка. Он, по-прежнему, думал об этом, но по-другому, не придавая такого значения поверхностному блеску, сопутствующему успеху. Он видел теперь свое призвание не в суетной беготне за славой, а в творчестве вдумчивом и уединенном, близком к природе и пониманию мира. Сегодня он, может быть, впервые задумался о Боге. Бог представлялся ему безбрежным, вездесущим и вечным, как эта река, леса и поля, как солнце, небо, ветер и земля, и в то же время он чувствовал Его внутри себя, будто вместе с красотой и покоем, окружающим его, Он отразился в нем самом. Возникло чувство отстраненности, оно передалось рассудку, Илья сформулировал для себя эти новые ощущения, как перепутанную мозаику, неожиданно превратившуюся в рисунок. И в этой сложившейся в голове картине на первом месте нарисовалась Даша, их будущий ребенок, его творчество и солнечная красота мира вокруг него. Сейчас для себя он принял решение: жить здесь, в их доме, с Дашей и маленьким и писать. Здесь свободнее думается и легче пишется, здесь чище воздух и больше простора.

После художественного училища он получил свободное распределение. Что же, свобода – это неплохо, это даже очень хорошо, что его не будут вести, как козленка на привязи, и учить, что писать. Так ему казалось, он оставался все тем же мечтателем, сказочником, как его иногда называла Даша.

Они еще не говорили о том, как и где будут жить дальше. Но теперь он принял решение и был уверен, что Даша поддержит его.

Голубое мартовское небо широко распахнулось над головой. Снег сошел рано, Волга встрепенулась и ожила. Сумбур в голове развеялся, как степной туман, и Илье показалось, что в бездонной высокой синеве он, наконец, нашел разгадку бытия. Она была проста и понятна: жить, любить, творить и радоваться каждому мгновению. Ненастья, как облака, прогоняются ветром, а небо остается неизменным. Даже если оно серое, тяжелое, и нет конца тоскливым дням, обделенным солнцем, придет весна, а за ней лето, и это значит, что ты живешь.

На следующий день он написал письмо родителям и стал готовиться к выставке молодых художников в Москве, в которой его пригласили участвовать. От нее он ожидал многого, и ему было приятно слышать от Даши:

– У тебя же талант. Все будет хорошо.

Неожиданно, не предупредив, к ним в гости нагрянула Илюшина сестра.

– Показывайте, как вы здесь живете, – с порога объявила она.

Наталья Андреевна Головина была женщиной умной, расчетливой и прагматичной, резкой, прямой и категоричной в суждениях. В отличие от своего вечно сомневающегося и рефлексирующего брата она была уверена в себе и в том, что, что бы она ни делала, она поступает правильно. Она рано ушла из родительского дома и вышла замуж, скорее, не по любви, а из желания быть независимой от них. С Ильей они были слишком разными, чтобы быть близкими. Она всегда казалась старшей. Ее нельзя было назвать ни красавицей, ни дурнушкой. Глаза у нее были серо-зеленые, нос прямой, губы тонкие, лицо не круглое, не худое. Прически она носила скромные, но по моде, и тщательно ухаживала за своей внешностью, прежде всего, за руками и фигурой. Она несколько раз неудачно поступала в медицинский институт и работала медсестрой. Свою горечь по этому поводу она никогда никому не раскрывала. Детей у нее не было.

Она обошла дом, как хозяйка, и покачала головой.

– Скромненько, но чисто.

Даша быстро накрывала на стол.

– Вот что, ребята, – без предисловий начала Наталья Андреевна. – Хватит дурака валять. Пожили в деревне, вкусили простого бытия, пора домой возвращаться.

– Здесь наш дом, – оборонил Илья.

– Родители там с ума сходят, – не обращая на него внимания, продолжала сестра, – а они, видите ли, жить здесь собрались. Ты что себе думаешь, – обратилась она к брату, – много в этой глуши денег заработаешь? Или ждешь, что родители станут помогать? Или что твоя мазня будет продаваться?

Илья начал закипать. Даша положила ладонь на его сжавшиеся пальцы.

– Давайте пообедаем сначала. Вы походите по округе, здесь очень красивые места есть, – сказала она.

Наталья Андреевна как-то сразу поостыла и передохнула:

– Да, ты права. Потом поговорим.

Здесьние места и вправду ей понравились. Она гуляла одна, ездила на Волгу, заглянула ненадолго к дяде и к начатому разговору больше не возвращалась. Спустя неделю за ужином она рассказала:

– Места у вас, действительно, красивые. Я поехала, дом под дачу присматривала. Договорилась о покупке. Большой дом, каменный, на берегу Волги. Дом заброшенный, ремонта требует, и сад запущенный. Но за копейки. Люди не понимают, что через тридцать лет эта земля бешеных денег будет стоить.

И резко поменяла разговор:

– Так что вы решили: здесь останетесь или в Москву поедете?

– Никуда мы не поедим, – ответил Илья.

– Ну и дурак.

На следующее утро сестра уехала.

VI

Илюшина работа на выставке провалилась. «Прошлый век, батенька. Новизны нет, свежести.»

Илья писал эту картину на Соборной горке. Ему самому показалось, что он сумел запечатлеть на ней вечность. Он хотел передать в ней и чувства свои, и осознание того, что непреходяще и бесценно: мир вокруг нас и красота. Волга, небо, лес, холмы, поля и расплывчатый, теряющийся за ними горизонт.

Картину осмеяли, а он, будто оплеванный, убежал прочь из Москвы.

Он приехал домой мрачный, неразговорчивый. Тоска в голове и в груди гнула, давила, расплющивала и желания, и веру. Будто ножом полоснули и по картине, и по сердцу, словно отрубили будущее. Наверное, он заблудился, и там, где была дорога, разверзлась пропасть.

Даша налила ему чай, придвинула поближе наготовленные к его приезду колобушки и сказала:

– Знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты заботливый, внимательный, нежный. А еще за то, что ты добрый, умный, талантливый. Ты – замечательный художник. Но я не смогу тебя любить, если ты будешь слабым, если ты будешь ныть из-за неудач, если ты перестанешь верить в себя, в свое призвание, так, как верю в тебя я. Моя мама любила повторять: «Не живи уныло, не жалея, что было, не гадай, что будет, береги, что есть.»

Нам хорошо вместе, слава Богу, что мы вместе. Тебе этого мало. Любому человеку всегда мало, и тебе, и мне, всегда чего-то не хватает. Но рассуди сам: мы уже многое имеем, у нас есть любовь, дом, скоро родится наше дитя, а все остальное придет, стоит только верить и очень сильно захотеть.

Даша умела найти слова, чаще ласковые, порой грубые и прямые. Она была более практичной, нежели он, она была здравомыслящей женщиной. И придавала ему уверенность.

А сестра была права лишь в одном: в ближайшее время нечего было рассчитывать на плоды своих творений, надо было зарабатывать деньги.

Илья устроился на работу фотокорреспондентом в местную газету. Фотографировать, возиться под красной лампой со снимками он научился давно, еще в институте, любил и умел это делать. На скорые деньги от своих картин он уже не надеялся, но продолжал писать для себя и для Даши.

Ее живот уже сильно округлился, и они стали понемногу готовиться к появлению на свет нового члена семьи Головиных.

Событие это произошло в середине осени и шумно отмечалось приехавшими по этому случаю Илюшиными родителями, Игорем Васильевичем, Дашиной тетей Валей и соседями. Илюшина сестра не приехала. Родился здоровый, крупный мальчик. Назвали его Александр.

Навалилась разгульными ветрами и метелями зима, жить стало тяжелее. Затемно топили дровами котел и грели воду, когда чуть светало, Даша бежала на реку стирать белье, а Илья с ведрами на колодец. Слава Богу, Саша был спокойным ребенком и по ночам плакал редко.

Денег, полученных от государства на младенца, хватило на то, чтобы оплатить электричество за месяц и купить распашонки. Илья уходил на работу, а перед глазами стояли Дашины красные от ледяной воды руки, и он думал, что, хоть вывернется наизнанку, но купит стиральную машину.

Даша стала спокойнее и похорошела. Она не располнела, но подобрела телом, налилась мягкой, светящейся красотой, которую дает женщине материнство. Вечерами, когда она кормила грудью Сашеньку, Илья писал ее портрет мадонны и лучше понимал мастеров эпохи Возрождения. Дашина голова немного склонялась к плечу, волосок выбивался из-под косынки, белая грудь была маленькой, молочной и упругой, как снежок. Руки крепко и ласково обняли младенца, а в глазах изнутри струились неповторимые нежность, любовь, мягкость и теплота. Уголки губ немного раздвинулись в легкой улыбке, тело стало округлым, линии фигуры слегка сгладились, и от нее исходил свет, будто Святой дух сошел на эту женщину.

Как-то она сказала:

– Илюшенька, иногда в последнее время я будто вижу Бога, даже не вижу, это не совсем точно, а ощущаю. Это так странно и приятно. Какая-то теплая, радостная волна нарастает в груди, и я понимаю, что Он рядом и Он во мне.

Крестить Сашеньку поехали в Толпыгино, местная церковь была закрыта еще до войны и превращена в склад.

К выбору крестных они подошли серьезно. Илья тщательно перебирал в памяти своих однокурсников и школьных товарищей. Ни один не подходил в этом качестве, и даже неизвестно, поехал бы кто-то в такую даль. Он вдруг подумал, что ведь настоящих друзей у него-то и нет.

– Дашуль, у тебя ведь есть подруги, я знаю.

– Понимаешь, мы часто встречались раньше, а сейчас никого из них и видеть не хочется. То ли повзрослели, у многих уже семьи и свои заботы, то ли это были не настоящие подруги.

И оказалось, что нет здесь у них никого ближе Дашиной тети Вали и Илюшиного дяди Игоря.

Время менялось, в стране началась перестройка.

В Москве, в Измайловском парке стали выставляться художники, и теперь Илья ездил туда на субботу-воскресенье, как на работу. Он выезжал в пятницу вечером, а с утра субботы уже стоял в длинном ряду своих собратьев по творчеству. В воскресенье вечером садился в автобус, приезжал домой ночью и утром шел на работу. Это было изматывающе и не всегда приносило деньги. Поначалу он чувствовал себя нищим, выпрашивающим милостыню, потом пообвыкся, огляделся и даже с кем-то познакомился.

Это была первая перестроечная барахолка. Она напоминала времена НЭПа из фильмов про двадцатые годы. Торговали всем: самоварами, матрешками, антиквариатом, иконами, какими-то камнями времен палеолита, деревянными поделками, тряпками и посудой, орденскими знаками, медалями, фуражками и касками. Это была какая-то вакханалия выброшенных на свалку и вдруг пригодившихся вещей.

Дашины портреты Илья не возил на продажу, только пейзажи. Мимо прохаживались невесты откуда взявшиеся вальяжные господа, дамы и иностранцы. Они тыкали пальцем в картину, говорили: «Сколько?» – качали головой, и по их лицам Илья понимал, что эти люди не то что не разбираются в живописи, а подбирают, чаще всего, картины под цвет обоев, как, чуть раньше, покупали книги под цвет гарнитура. Ему становилось противно, но тут же одергивала мысль, что Даше надо хорошо питаться, иначе пропадет молоко, и что надо бы прикупить что-нибудь из одежды и ей, и себе.

Иногда везло, и продавались одна или две картины. Остальные он складировал в родительской квартире.

Мать всплескивала руками:

– До чего же ты дошел.

Отец ругался, чего раньше с ним никогда не случалось:

– Довели страну до ручки.

Даша говорила:

– Хоть завтра не езди. Отдохни, сделай перерыв.

Илья сам понимал: нельзя только торговать. Да он и не умел толком торговаться. Он художник, а времени писать не оставалось. Тогда он сам у себя брал выходной, и они ехали с Дашей и Сашенькой гулять на Волгу. Илья в эти редкие счастливые дни стоял у мольберта, а Даша с Сашенькой на руках сидела рядом. Потом она укладывала его в коляску, и они долго гуляли по набережной.

Легко и спокойно жить в стране, не ведающей бремени революций, войн и потрясений. Тяжело выживать, не зная, что будет завтра. Они терпели, жили, надеялись и, несмотря ни на что, были счастливы.

Это перестроечное, бандитское, хаотичное десятилетие промелькнуло словно старый фильм немого кино, который они с Илюшей видели по телевизору. Под бешеный, нарастающий без усталости ритм музыки Свиридова крутятся шестеренки, моторы и люди, и, кажется, нет конца этой круговерти.

Саша уже готовился к школе, когда родился Сережа. Саша учился уже, Сережа стал ходить, потом говорить, потом пошел в детский сад, и колея, по которой Даша с Ильей продвигались по жизни, стала привычнее, идти по ней стало легче.

Даша работала там же, на заводе, Илья – в своей газете. В Москву, на заработки, он больше не ездил: стало модным приезжать из Москвы на Волгу, и в туристический сезон Илья выставлял свои картины на набережной и зарабатывал не то, чтобы много, но на семью хватало. О том, чтобы участвовать в выставках, ни он, ни Даша больше не говорили, но про себя он об этом мечтал, а Даша, его Даша, она все понимала и тоже надеялась на чудо или на Бога.

В городе подлатали и открыли для служб старинный храм Николая Чудотворца, и иногда, по праздникам, они приходили и ставили свечи к иконам. Они не знали молитв, и Даша молилась про себя придуманными ею словами:

– Господи, помоги. Спаси и сохрани, Господи, нас и наших детей. Сделай так, Господи, чтобы Илюшины работы выставлялись, чтобы выпрямилась его душа и избавилась от гнета непризнания и бедности. Не оставь, Господи, нас своей милостью.

Чудо ли произошло, или Бог услышал ее молитвы, в одночасье их жизнь переменилась.

VII

С Николаем Ивановичем Илья познакомился на этюдах на берегу Волги. В тот летний день Даша осталась с детьми дома, он был один и работал над новой картиной. Он давно привык не обращать внимания на туристов, останавливающихся на минуту за спиной и спешащих дальше, поэтому повисший в воздухе вопрос: «Вы что заканчивали, молодой человек?» – не принял на свой счет. Когда за его спиной тот же голос повторил: «Молодой человек!» – он обернулся. Позади стоял пожилой мужчина с седыми волосами, в очках, с бородкой клиныш-

ком, напоминающей незабвенного Михаила Ивановича Калинина, и с манерами дореволюционного интеллигента, не расстрелянного большевиками. Это лицо забыть было невозможно: перед ним был профессор живописи Николай Иванович Вяземский. Он вел у них курс лекций, потом Илья встречал его несколько раз на выставках, но знаком с ним не был.

– Суриковку, Николай Иванович.

– Мы знакомы?

– Нет, я посещал ваши лекции.

– Да? Не припомню. Приехали на этюды? Места здесь замечательные, левитановские.

– Нет, я здесь живу.

Брови профессора вздернулись вверх и выразили недоумение, будто писать можно было где угодно, но жить только в столице.

– Мне нравится ваша манера. Не помню, чтобы вы выставлялись.

Илья назвал год, выставку и ту свою разгромленную картину.

– Картину вашу не припомню, но тогда ведь оплеывали и освистывали всех, кто старой школы. Что же вы так и сбежали? Вот сюда?

Николай Иванович помолчал.

– Один живете?

– Нет, с семьей.

– У меня здесь дача. Приезжайте ко мне завтра часам к двенадцати и привезите свои работы, те, что вы считаете лучшими, – и назвал адрес.

Он исчез в приволжском знойном мареве, а Илья все оглядывался вокруг, пытаясь определить, не было ли все это сном или игрой воображения. Продолжать работу он более не мог, ему не терпелось поскорее вернуться домой и рассказать обо всем Даше.

На следующий день, ровно в двенадцать часов, Илья стоял перед калиткой с указанным на ней адресом и аккуратно нажимал на кнопку звонка.

* * *

Все, что происходило в последующие дни, Илья и Даша воспринимали, как сказку, как наваждение, как обман или промысел Божий.

– Я не верю в случайности. Если очень чего-то хочешь, если ты уже готов к этому, все непременно случится. Все в воле Божией и в человеческих руках, – повторяла Даша, как заклинание.

А случилось невероятное. Картины понравились, мало того, обещано было посодействовать в организации персональной выставки. И самое непонятное и невообразимое: обещание это было выполнено.

Даша ставила свечи в храме и непрестанно улыбалась, Илья готовился к поездке в Москву, и их приподнятое состояние души, их праздничное настроение передалось и детям, и тете Вале, и дяде Игорю, и соседям, и знакомым, и даже просто прохожим. Солнце светило ярче, дом их посветлел и как бы увеличился в размерах. Жизнь показала им, наконец, как она умеет улыбаться, и что у судьбы тоже есть вполне приличное лицо.

На открытие выставки они поехали вместе и остановились у Илюшиных родителей. Даша не могла заснуть всю ночь. Зинаида Васильевна пила корвалол и называла Дашу доченькой. Андрей Петрович усаживал сына поближе к себе с таким видом, будто готовил его для полета в космос.

На следующий день Илья сделался известным художником.

VIII

Их жизнь переменялась кардинально. Илья уволился с работы и много времени проводил в Москве. Уговаривал и Дашу уйти с завода, но она привыкла и не хотела менять установившийся распорядок. Старый дом перестроили, расширили, обустроили, поменяли мебель, купили машину, летом стали ездить семьей на отдых за границу.

Но среди этого блестящего бала и праздника жизни Даша каким-то десятым чувством стала ощущать неясную тревогу. Эта тревога родилась в ней неизвестно от чего, без видимой причины – так маленькое облачко на небе, еще не предвещающее грозы, беспокоит своим приближением.

Деньги и слава не испортили Илью: он не стал ни скупым, ни расточительным, ни высокомерным, ни грубым. Он был, как прежде, внимателен и к ней, и к детям. Даже заботливее, чем раньше. Он покупал ей одежду и косметику, которую она выбирала сама, к которой раньше и подойти не решалась. Он дарил ей подарки, о которых еще два года назад она могла лишь мечтать. Он баловал детей игрушками и вещами. И все-таки что-то не давало покоя, что-то зыбкое, не оформившееся мыслью в голове, неосознанное, но касающееся именно ее, Даши, и ее мужа.

Он всегда мало обращал внимания на то, как он выглядит и во что одет. Если бы не Даша, носил бы одну и ту же рубашку или свитер и забывал бриться по утрам. Теперь он возвращался из своих поездок свежевыбритым, душистым от французской туалетной воды, в безупречной чистой одежде. Даша понимала, что у него встречи, приемы и радовалась этим переменам, но беспокойная жилка сильнее билась в виске. Он всегда был настойчив в постели, нежен, нетерпелив. Это в нем нравилось Даше и вызывало ответную слабость в ногах и предвкушение неги. В последний год они стали близки реже. Илья приезжал уставшим, ужинал, наскоро целовал Дашу и ложился спать. У него поменялись глаза, они стали беспокойными. Он все меньше рассказывал ей о своей работе. Раньше он любил в деталях описывать людей, с которыми встречался. Раньше они вместе обсуждали его планы и даже картины. Хотя она и не знала тонкостей мастерства, но интуитивно подсказывала, что, на ее вкус, следовало смягчить или убрать, а что усилить на холсте. Как ни странно, Илья прислушивался к ней и каждый раз с радостью убеждался, что она права. Это было раньше.

Постепенно Дашины тревоги перерастали в сомнения, а из этих сомнений мало-помалу, как пятнышки ржавчины, вырастали подозрения. Подозрения оформились в мысль, и теперь Даша терзалась и мучила себя, и думала одинокими ночами, что какая-то чужая женщина медленно, неумолимо, там, далеко, отнимает его и забирает себе его любовь.

Когда они только поженились, между ними было решено не держать никогда в себе даже самые крохотные обиды, упреки и недомолвки, чтобы не накапливать их, а в самом зародыше топить их в словах, в разговоре о том, что кого-то из них не устраивает. И за всю их семейную жизнь ни разу не нарушили своего договора. Может быть, благодаря этой простой мудрости они никогда за эти годы не ссорились серьезно. Всегда случаются и обиды, и раздоры, и непонимания, но если запереть их в себе, к ним будут прибавляться новые и все больше разъедать разум и душу невысказанными занозами. Они по капле станут заполнять и точить сердце и, в конце концов, выльются через край яростью, гневом, криком, скандалом. Слава Богу, между ними всегда все было честно и открыто. До сих пор Даша была уверена в своем муже. Сейчас она старалась скрыть от него перемены своего настроения. Она боялась спросить, потому что знала: он не будет лгать и скажет правду. Они всегда говорили правду, так было заведено между ними. Сейчас она боялась этой правды. Ей казалось, что стоит ему признаться в том,

что у него есть другая женщина, Даша возненавидит его, и все рухнет. Она страшилась и того, что может его выгнать, и того, что он может уйти сам.

Она мучилась и все ждала, что это пройдет: и его отъезды, и ее подозрения.

Меж тем, уходил год за годом, Даша молчала, потом смирилась, рубец на сердце затянулся, но не исчез. Росли дети. Саше исполнилось четырнадцать лет, Сереже восемь. Стала чаще наезжать на свою дачу и захаживать в гости Илюшина сестра.

Дом свой Наталья Андреевна, в конце концов, отремонтировала, сад привела в порядок. За эти годы она изменилась, не характером, она поменялась в другом. Она вдруг стала истовой богомолницей и часто заявляла Даше со своей обычной безапелляционностью:

– Я – человек воцерковленный. Вы нет, ни ты, ни Илья.

Она, казалось, гордилась этим, как новым званием.

Даша и Илья веровали в Бога всегда. Но и она, и он считали, что эта вера должна быть тихой, внутренней, не прилюдной. Они подсознательно чувствовали, что вера сродни любви, это тайна души, которую стыдно и некрасиво выпячивать наружу. В церковь они ходили чаще, чем прежде, но только тогда, когда внутри их что-то толкало, звало и тянуло в храм.

Даша ощущала Бога сердцем. Утром и вечером она молилась про себя и разговаривала с Ним. Она обращалась к Нему за помощью и поддержкой обыденными словами, так, как по-житейски, просто разговаривают с давним, добрым другом, доверяя ему сокровенное.

С Натальей Андреевной Даша держалась по-родственному приветливо, но на некотором расстоянии, как и Илья.

Обедая как-то в доме Головиных, Наталья Андреевна спросила Сашу:

– Ты думал уже, в какой институт будешь поступать после школы?

– Еще нет.

– Может быть, тебе стать врачом? – эту фразу она произнесла полувопросительно-полуутвердительно, как дело для себя решенное.

Саша пожал плечами.

У Натальи Андреевны детей так и не было. Между племянниками она всегда выделяла Сашу и привечала его. Он бегал к ней в гости, она брала его с собой путешествовать на катере по Волге. Создавалось впечатление, что из всего семейства она по-настоящему искренне любила только его. Эта ее избирательность была непонятной и необъяснимой. Саша был умен, серьезен, учился хорошо, может быть, она нашла в нем родственную душу.

Три года спустя при ее содействии, помощи и связях он поступил в Московский медицинский институт и стал на постой не у бабушки с дедушкой, а в ее квартире.

IX

После той знаменательной выставки, перевернувшей их жизнь, Илья стал модным, востребованным художником. Те, кто десять лет назад хаяли его работы, а самого его называли ретроградом, вдруг разглядели в тех же картинах глубокую и загадочную русскую душу.

Эта новая, яркая жизнь, внимание почитателей его таланта, поездки за границу, новые выставки и большие гонорары, все то, о чем он когда-то давно мечтал, пьянили его и дурманили голову, как выкуренная после месяцев воздержания сигарета. Состояние головокруже-

ния, чувство свободы от унижительного ярма бедности, ощущение простора, когда рушатся все преграды и границы, были сродни первой любви и первой близости.

Но неиссякающая любовь к Даше и детям, въевшиеся в кровь нравственные обязанности перед своим домом, не успевшие вдали от столиц дать чреваточину, и генетическая интеллигентность удерживали его от загульного пьянства, от кабацкого размаха, хамства и высокомерия. Он не стал, как многие из того круга, в котором он теперь оказался, презирать низших и бедных и не замечать несчастных. Более того, он старательно избегал предлагаемой со всех сторон дружбы и близости, словно боясь заразиться. В обществе, в которое он попал волею судьбы или милостью Божией, его посчитали холодным, скучным и заносчивым, хотя он не был ни тем, ни другим, и перестали приглашать в гости, но не отталкивали, а, по-прежнему, встречаясь на приемах и выставках, приветствовали его любезной напускной улыбкой.

С Таней он познакомился на выставке. Ему нравилось останавливаться невдалеке от своих полотен и наблюдать за лицами людей, либо хаотично перетекающих из зала в зал, либо задерживающихся надолго перед той или иной картиной. По выражению глаз Илья научился понимать, нравится она или нет, или просто безразлична, как пятно расплескавшейся краски.

Девушка долго и внимательно изучала его картину, на которой Волга встречала восход солнца, а он бесцеремонно разглядывал ее.

По натуре своей Илья был влюбчивым человеком. Наверное, если бы он не полюбил свою Дашу так сильно, так сразу, так безоглядно, у него сменилось бы немало жен и еще больше любовниц.

Ей было лет двадцать, не больше. Узкая юбка обтягивала выразительный зад, ноги были длинные, расстегнутая верхняя пуговица на блузке чуть приоткрывала небольшую грудь. Каштановые волосы были коротко пострижены, цвет глаз он рассмотреть не сумел.

Она медленно повернула к нему голову и посмотрела прямо в глаза.

– Вам нравится эта картина или нет? Я не могу понять, – спросил он, не отводя взгляда.

– Нравится, я не могу наглядеться. Она лучшая из того, что здесь есть.

Ему было приятно это слышать. Он сам признавал эту свою работу одной из лучших. Илья представился. Казалось, она не была удивлена.

Илья приближался к своему сорокалетнему рубежу. Он пребывал в том опасном возрасте, когда семья, жена и дети давно стали привычной, неотъемлемой частью бытия, когда уже есть достаток и еще есть силы, желание и влечение к очень молодым, красивым и незнакомым женщинам.

Страсть вспыхнула в нем, как костер, вздуваемый ветром. Она повезла его к себе, а наутро он проснулся в чужой постели с чувством стыда перед Дашей. Это неприятное чувство застигнутого врасплох за чем-то недостойным школьника несколько развеялось, когда он поднял глаза и увидел входящую в спальню обнаженную Таню с подносом, на котором дымилась чашечка ароматного кофе и лежали на блюдечке булочка и бутерброд.

Он пил кофе, а ее руки скользили, как две змеи, по телу, и жаркая грудь упиралась в спину. Страсть, как пыл горящей печи, ударила в голову и накрыла густым туманом и стыд, и Дашино лицо, и бегущее время.

По приезду домой он старался не смотреть Даше в глаза. Ему казалось, что стоит ей увидеть его глаза, и она все поймет. Он испытывал раскаяние и злость на себя самого. И в то же время ночью, закрыв глаза, не смея шевельнуться и не в силах заснуть, он представлял бедра, руки и грудь той женщины, с которой провел предыдущую ночь и вчерашний день.

В последующие дни и недели он чувствовал, что его сознание разделилось на две половины: одна была здесь, дома, и она была спокойна и буднична, другая пребывала далеко, в чужой постели.

С Таней они не договорились ни о чем: ни о новой встрече, ни о телефонном звонке. Когда они расставались, он был уверен, что больше они не увидятся. Прошел месяц, и ему захотелось обнять ее до боли, целовать до крови. Это было безумие и наваждение. Утром он уезжал из дома на Волгу и возвращался поздно, когда темнело. Брал с собой мольберт и кисти, но писать не мог, а лишь часами глядел перед собой, не видя ни Волги, ни города, ни людей.

Через месяц Илья стал судорожно искать Танин телефон, нашел пустячную причину – не для Даши, для себя – поехать в Москву, и уехал.

С этого времени он стал наезжать к ней регулярно. Обычно они ужинали в ресторане, ехали к ней домой, до полудня валялись в постели, а потом он уезжал. Он знал о ней только то, что она преподавала музыку. Об остальном не то, чтобы она молчала, просто он никогда не спрашивал.

Илье казалось, что их обоих устраивают такие отношения. Он ошибался. Однажды она сказала:

– Разведись с женой и женись на мне.

Эти слова, как ведро холодной воды на морозе, мгновенно остудили голову. Он ответил тихо и ясно, отдельно произнося каждое слово:

– Я никогда, слышишь, никогда не разведусь со своей женой. Если тебя что-то не устраивает, мы расстанемся прямо сейчас.

Она погладила его руку и привлекла к себе. Больше на эту тему она с ним не заговаривала.

Прошло полгода, и как-то мимоходом, проходя, будто о пустячке, Таня оборонила два слова:

– Я беременна.

Илья ощутил себя так, словно он залез в клетку за кусочком сыра, и мышеловка захлопнулась.

– Сделай аборт, – сказал он глухо. – С деньгами я помогу.

– Уже поздно, срок большой. Я делала УЗИ, это девочка.

Илья мерил шагами комнату и пытался унять сумбур, завьюживший в голове после этих слов. Он мечтал о девочке, Даша еще могла родить. Но теперь? Он не мог предать Дашу, он не мог бросить Таню. Он внимательно посмотрел на ее лицо, будто в первый раз. Ему показалось, что она еле сдерживается от победного смеха. «Какая же ты красивая дрянь», – подумал он.

– Я могу тебе предложить только один вариант. Рожай. Ни ты, ни ребенок...

– Наш ребенок.

– Вы никогда ни в чем не будете нуждаться. Я буду приезжать. Если ты попытаешься разыскать мою жену и рассказать ей, даже если после этого мне придется развестись, я на тебе не женюсь, но денег ты тоже больше не получишь.

Таня как-то сразу посерьезнела, будто поставила подпись на сделке.

– Хорошо.

Илья слово свое сдержал, Татьяна тоже. Когда пришло время рожать, он примчался в роддом. На сердце было тревожно и радостно. Каждый день он ходил под окнами и видел через окно Танино лицо в белой косынке и маленькое тельце в пеленках, которое она поднимала на руках, чтобы было лучше видно.

Таню выписали, месяц он прожил с ними вместе. На секунду ему подумалось, что она, действительно, его любит и что она в этот месяц была по-настоящему счастлива. Девочку называли Аннушкой.

* * *

К Тане Илья охладел, страсть улеглась и потухла. Но Анюту он боготворил. Она была беленькой, с голубыми глазами и уже улыбалась. Она показалась ему умненькой и очень красивой. Приезжал он к ним теперь даже чаще, чем раньше, когда Татьяна была одна, и обычно ложился переночевать на диване, что, кажется, устраивало обоих.

Раздвоение, происшедшее в жизни Ильи Андреевича, о котором, может быть, догадывалась одна лишь Даша, будто судорогой отпечаталось и на лице его, и на характере, и на живописи. В глазах все чаще проявлялось выражение растерянности и даже страдания, словно он водрузил себе на голову невидимый терновый венец, мучился им и кровоточил ранами, но не мог его снять. Малознакомые люди стали замечать, что он постарел за последние годы, сморщился лицом и высох телом. Он сделался импульсивен и вспыльчив, будто нервные окончания его вдруг вылезли наружу и болезненно отзывались на малейшее прикосновение. Как ни странно, эти перемены не задели его отношения к Даше. Наоборот, рядом с ней он успокаивался, будто она одним своим присутствием и близостью снимала с его сердца тяжесть и боль. Он стал даже нежнее к ней. Казалось, он наслаждался каждым мигом любви рядом с ней и смаковал, и растягивал счастливые мгновения, когда они были вместе, и старался удерживать их. Но проходило какое-то время, он становился задумчив и растерян, словно набегала туча и затемняла лицо, а с ней налетал ветер и срывал его, как пожелтевший листок с ветки, и гнал прочь.

Теперь ему стали ближе пейзажи осени. В полутонах дождя и асфальта он находил задумчивую красоту, грустную мудрость и тихую боль сердца.

Неизвестно, стал ли он сам мудрее, но постепенно он растворился в своей двойной жизни и привык к ней, как привыкают ко всему. Он тянул свою ношу, изнывая душой и разрываясь между домом, детьми, Дашей, без которых не представлял своей жизни, и девочкой, которую любил до умопомрачения, по которой невыносимо скучал и страдал.

Аня звала его папой. У нее были пушистые светлые волосы. В детстве она улыбалась часто, беспричинно радостно и доверчиво, и была похожа на солнышко. Постепенно ее улыбка стала стираться и исчезла совсем.

Недавно ей исполнилось семнадцать лет.

Х

В доме тихо, в доме никого нет, кроме Дарьи Степановны. Илья опять уехал в Москву, а она опять его ждет. Сдал он в последнее время, постарел. С ним они всегда хорошо жили, по-доброму, слава Богу, а сейчас их отношения стали ровнее, спокойнее, что ли, мудрее. Дети выросли, Саша уже доктор. Вот и Сергей уехал в Москву. Он не похож на Сашу, другой, без царя в голове. Как она, эта Москва, заглатывает их всех, пережевывает и выплевывает, как жвачку.

Никого из родни не осталось, только Наталья Андреевна (Илюшину сестру она до сих пор величала по имени-отчеству). Давно умерла тетя Валя. Андрей Петрович и Зинаида Васи-

льевна ушли один за другим. Три года назад скончался дядя Игорь. Он пожил дольше всех. Свой дом на стрелке он завещал Илье.

Что Илюше неймется? Затеял построить на этом месте новый большой дом. Он уже почти готов, отделку заканчивают. Говорит: внукам останется, картины свои развешу, наконец, родовое гнездо. Наверное, он прав.

У Саши уже трое детей. Сереже надо бы жениться.

В доме тихо, в доме никого нет, кроме Дарьи Степановны. Она сидит, задумавшись, у окна, и взгляд ее скользит мимо засугробленного двора, за дырявый полосчатый забор, дальше за околицу, туда, где за белым полем, у края неба перечеркивает окраину дорога.

Как быстро память тасует колоду прошедших лет, как время скоротечно. Вот она молодость, рядом. Только загляни во вчерашний день и увидишь ее. Протяни ладонь и коснешься дорогих и близких людей. Но нет, это старый календарь, случайно оказавшийся под рукой. И нет больше мамы, многих уже нет. И той худенькой пылкой девочки тоже больше нет. Или есть? Конечно, есть. Она в ней и в Илюшиных глазах, потому что он все еще видит ее такой. Так чего же беспокоиться? Вот она: одновременно и там, и здесь. И сегодняшний день, и вчерашний, все это в ней. Это ее и навсегда с ней. Жизнь коротка. Чем дольше живешь, тем лучше это понимаешь. Но какая бы она ни была, эта жизнь, это ее жизнь. Она живет, вот что главное.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДОКТОР

I

Каждый раз, когда Илья Андреевич бывал в Москве у сестры, а это случалось очень редко, он чувствовал себя, как человек, перепутавший номера квартир, которому было мучительно стыдно и неудобно объяснять, зачем он здесь оказался и что ему нужно.

Как-то странно было не увидеть в этой квартире ее мужа: он ушел из жизни так же незаметно и тихо, как и жил. Изменилась и сама квартира. Рядом с увеличенными фотографиями Натальи Андреевны в молодости в бесчисленном количестве стояли и висели иконы, образа, иконки и лампадки. Казалось, вот-вот запахнет ладаном.

В последний раз Илья Андреевич встречался с сестрой на похоронах матери. Тогда она была деловита и сдержанна: взяла на себя организацию похорон, возложила на гроб цветы, приготовила заранее подушечки с мамиными медалями, положила ладонь на холодный лоб и отошла от гроба, как бы давая знак остальным подойти проститься. Поминки были скромные, народа пришло немного. Приехали они с Дашей, Сергеем и дядей Игорем. Был Саша. Он учился на предпоследнем курсе, жил у сестры, и встречались они с ним теперь редко.

Иногда, на каникулах, он приезжал домой, но каждый раз, видя его, Илья Андреевич останавливал себя на мысли, что их старший сын будто выполняет некую взятую на себя обязанность, навещая их, и ночует в родном доме из необходимости, через силу, без радости и удовольствия. То ли Саша стал другим, то ли Илья Андреевич в своей разбросанной, раздербанной по кускам и углам жизни так и не разглядел, каков он, и не распознал вовремя его мысли и стремления. Угадывать их теперь было трудно и, наверное, поздно, но очень хотелось заглянуть, как через замочную скважину, в его голову. Это было невозможно: чем старше становился их сын, тем плотнее закрывалась переборка, за которой он прятал себя. Иногда Илье Андреевичу казалось, что в Саше каким-то образом уместились два разных человека: ясный и хорошо узнаваемый мальчик и нынешний, совершенно незнакомый молодой человек. Возникало ощущение, что в какой-то момент, а в какой Илья Андреевич никак не мог вспомнить, Саша натянул на свое лицо маску и стал невидимым. То есть видна была только улыбающаяся маска, а что под ней было непонятно. И это непонимание все чаще раздражало Илью Андреевича.

С той встречи и с похорон прошло полгода. Сегодня сестра позвонила сама и попросила заехать.

Они сидели на кухне, пили чай. Наталья Андреевна начала разговор, по своему обыкновению, без предисловий.

– Надо что-то решать с родительской квартирой. По завещанию она принадлежит нам с тобой в равных долях.

– Что же тут решать?

– Она тебе нужна? Когда были живы папа с мамой, ты не так часто их навещал.

Илья Андреевич подумал, что сестра права. К родителям они обычно заходили с Дашей, когда вместе бывали в Москве. Когда он приезжал один, то останавливался у Татьяны с Анютой. Ему вдруг стало стыдно за себя и неприятно, как бывает, когда скажешь что-то злое и грубое, и уже невозможно обратно воротить слова.

Наталья Андреевна по-своему поняла его молчание.

– Я думаю, тебе есть, где остановиться в Москве, а жить ты здесь не собираешься.

На секунду Илье показалось, что сестра знает и о Тане, и об Аннушке. «Откуда? Нет, не может быть.»

– Чего же ты хочешь?

– Ты знаешь, что Саша собирается жениться?

– Нет, он нам не говорил.

Илья снова подумал, какой Саша стал скрытный, каким он стал далеким и от него, и от Даши. «Ладно я, – подумал он, – но с матерью-то зачем так. Она же по ночам не спит, все ждет от него звонка. А он: тетке сказал, а матери нет.»

Стало обидно за Дашу. И снова неясное раздражение и на него, и на себя, и на сестру затлело в груди.

– Он собирается жениться, – повторила Наталья Андреевна. – Ее зовут Оля. Хорошая девушка. Он приходил сюда с ней.

Наталья Андреевна немного смягчила тон:

– Он хотел вам об этом сообщить. Наверное, не успел.

– Хорошо. При чем тут завещание? Они и так могут жить в родительской квартире. Помоему, ты об этом хотела меня спросить?

Голос у Натальи Андреевны стал таять. Она сама стала похожа на расплывающуюся от весеннего солнца снежную бабу. Она потеплела лицом и смягчилась улыбкой.

– Илюша, неужели ты не понимаешь, что им нужна своя квартира?

– Я же сказал: пусть живут в этой квартире. Я там, действительно, редко бываю.

Илья искренне пытался понять, чего от него хотят, и не понимал. По примеру своих родителей он привык, что, как само собой разумеющееся, все, что имеет он, принадлежит и его детям. Быть может, советское воспитание наложило свой отпечаток, но слово «наше» для него было ближе, чем «мое».

– Илюша, им не нужна твоя часть, им нужна своя квартира, – уже тверже сказала Наталья Андреевна. – Напиши Саше дарственную.

– Я же там прописан, – недоумевал Илья.

Он все еще жил прошлыми временами, когда московская прописка играла чуть ли не решающую роль в жизни.

– Никто тебя не собирается выписывать. Хотя зачем тебе эта прописка? В Москве ты не живешь, у тебя есть дом. Ты и так, как сыр в масле катаешься. Если захочешь, сможешь еще одну квартиру купить. А Саше жить негде. Не вечно же ему у меня ютиться. Да еще с женой. А там и дети у них пойдут.

Илья подумал, что сестра права. И квартира, и прописка остались в прошлом. Зачем ему все это? И вслед за этими мыслями всплыло еще не до конца осознанное ощущение вины перед сыном. Будто он недодал ему чего-то, будто он виноват в том, что Саша отстранился от них с Дашей. И снова едкое чувство невосполнимой пустоты и утраченных лет по отношению к сыну кольнуло его сердце.

– Хорошо. Пусть будет по-твоему.

Наталья Андреевна облегченно улыбнулась, зная, что брат никогда не переменит решение. И эта победная улыбка напомнила вдруг Илье Андреевичу Таню, когда она сообщила ему о своей беременности.

«А ведь они чем-то похожи», – неожиданно подумал он.

II

Свадьба проходила в два этапа. В первый день молодые расписывались, на второй – венчались. Дарью Степановну и Илью Андреевича пригласили на венчание. Оно происходило

в маленькой старинной московской церкви, где, кроме родственников и друзей, никого из прихожан не было. Из собравшихся они знали только своего сына и руководившую всем его тетю. С Сашиной женой они познакомились второпях и в суете на пороге церкви.

Молодые стояли перед священником к ним спиной, и было плохо слышно, что они говорят. В церкви было торжественно и жарко. В голову пришла кощунственная мысль, что они с Дашей здесь лишь заурядные актеры, играющие свою маленькую роль в помпезном спектакле. Но постепенно тихая благость таинства изгнала из головы Ильи Андреевича суетные мысли и успокоила сердце. Он слегка повернул голову к стоящей рядом Даше и увидел, как она с набухшими от слез глазами широко крестится, взором припав к стоящему перед ней сыну. Он словно впервые за много лет увидел ее красивый профиль и маленькое ушко с серьгой, и выбившийся из-под косынки завиток волос. Всплыл из памяти давний, полузабытый образ мадонны с Сашенькой на руках. И такая щемящая нежность к ней сжала сердце, что захотелось молиться, плакать и каяться. Он увидел ее сейчас такой же таинственной от исходящего от нее света, как и в двадцать лет, такой же искренней, пылкой и молодой. «Единственная моя, любимая», – прошептал он одними губами.

Ни с Олей, ни с ее матерью – энергичной, маленькой женщиной, им так и не удалось поговорить, но невестка им показалась скромной, симпатичной девушкой.

После шумного, немного хаотичного застолья, на котором больше говорили друзья молодоженов, а их оказалось немало, Дарья Степановна и Илья Андреевич тихо покинули зал и отправились домой.

Следующим же вечером в кругу подруг Дарья Степановна скупыми красками, сдерживая переполнявшее ее возбуждение, описывала свадьбу.

Так повелось давно, что Илья Андреевич с легким сердцем отпускал жену к подругам или уходил в другие комнаты, когда девчонки собирались в их доме. Он их всех знал хорошо, знал и их недостатки, и достоинства, но никогда не обсуждал и не осуждал их. «ПобаландИте*, посплетничайте, как же вам без этого», – и уходил, чтобы не мешать.

– Свадьба была хорошая. Саша – в темном костюме, Оля – в белом платье. Серьезная девушка. Народу сколько? Человек тридцать. Храм старинный, красивый. И посидели неплохо.

Приходили обычно две или три Дашиных подруги. Дети у всех давно выросли, и теперь они общались чаще, чем в молодые годы. Даша готовилась, как к приему, суежилась, накрывала на стол. Илья улыбался иронично, но помогал сервировать стол, доставал закуски из погреба и домашний самогон.

– баландИть – болтать (Ивановский диалект)

Этот самогон стоит того, чтобы сказать о нем особо. Он был Дашиной гордостью и ее собственным произведением. В городе самогон варили испокон веку, даже во времена гонений. До того, как много лет назад Илья впервые попробовал Дашин натуральный продукт, о самогоне у него было не лучшее мнение, как о чем-то мутном и гадостном с сивушным запахом и привкусом. Этот напиток вызывал у него ассоциации со сценами из фильмов о гражданской войне, в которых пьяные, небритые бандиты хлещут из пятилитровых бутылей синюшную жидкость. Когда он в первый раз пригубил рюмку, торжественно поднесенную Дашей, с содержимым благородного янтарного цвета, он раз и навсегда понял, как он заблуждался. Аромат был тонким, вкус напоминал очень хороший бренди.

– Натурпродукт, – подтвердила Даша.

Помимо вкусовых качеств, Илью поразило еще два обстоятельства: не нужно было никакого самогонного аппарата, и второе, сколько бы он ни выпивал, наутро никогда не болела голова.

Намного позже, когда свободнее стало дышать и можно было жить без оглядки на соседей и милицию, они с Дашей для собственного удовольствия стали время от времени заниматься самогонованием. Под большим секретом Даша посвятила его в тонкости этого искусства, и Илья торжественно поклялся никогда и никому не выдавать страшную тайну. А домашний самогон с тех пор предпочитал любому другому алкогольному напитку.

Девичники, о которых идет речь, происходили не часто, но каждый раз, когда они достигали своего застольного апогея, кто-то из подруг запевал, и тут же песню подхватывали остальные. С того далекого вечера в Толпыгино у тети Вали, еще до их свадьбы, Илья полюбил эту женскую многоголосицу. Репертуар не был многообразен, но всегда пели чисто, проникновенно, искренне, вкладывая в песню и душу, и неизбывную бабью тоску.

Когда все ушли, Даша под села к мужу, как-то по-женски горестно подперла щеку ладошкой и сказала:

- Вот и Саша от нас ушел.
- Он давно ушел.
- Теперь уже насовсем.

III

Александр Ильич Головин был человеком умным и одаренным многими талантами. От отца ему передались медлительность в словах и поступках и способность к живописи, хотя он никогда этому не учился. Он рисовал иногда для себя, ему неплохо удавались натюрморты, а написанный им лик Христа оценил даже требовательный в вопросах мастерства Илья Андреевич. От матери он унаследовал здравый ум и житейскую практичность. Он перенял от нее также музыкальный слух и любовь к пению. Правда, песни, которые он пел, а некоторые сам и написал, сильно отличались от тех, что нравились Дарье Степановне, но в том было, скорее, веяние времени и отражение его особого склада характера. На этом, кажется, его сходство с родителями и заканчивалось.

Начало его дружбы с тетей, Натальей Андреевной, пришлось на подростковый возраст и особенно сильно повлияло на становление ума и характера. Он впитал от нее рациональное мышление, высокое самомнение и некоторую долю цинизма по отношению к людям. Как раз в то время происходили значительные перемены в самой Наталье Андреевне – неожиданный и кардинальный поворот в ее сознании в сторону Бога и веры, что не могло не сказаться и на Саше. Хотя копировал он ее не столько сердцем, сколько рассудком. В православном учении его более привлекала христианская философия, жития святых и отшельников, их система ценностей, такие понятия, как дух и душа. Уже в ранней юности ему стали неинтересны романы Фенимора Купера и Жюль Верна, но зато очень скоро заинтересовали Достоевский и Кафка. На первом курсе института он увлекся трудами Гегеля. Нельзя сказать, что Александр Ильич Головин создавал себя и строил свою жизнь, управляясь одним лишь рассудком, а не чувствами, но он всегда старался их обуздывать и прятать.

Учиться на врача он пошел без особого желания, сам толком не понимая, что его больше привлекает в науках и в жизни, лишь по настоянию Натальи Андреевны, но, как ни странно, медицина увлекла его, прежде всего, обширностью необходимых знаний, четкостью, ювелирной точностью и самостоятельностью решений.

За время своего обитания в квартире Натальи Андреевны Саша сошелся с ней особенно близко во всем, что касалось учебы и медицинской практики, и стал с ней достаточно откровенен относительно своей личной жизни и связей с девушками. Нельзя сказать, что он ей рассказывал все о себе: он всегда был сдержан в словах, но именно Наталья Андреевна стала тем человеком, который сделался необходимым, как няня, как подушка для слез, как громоотвод, как болеутоляющее лекарство.

У него были друзья, но с ними Саша раз и навсегда поставил себя неким ироничным, циничным мудрецом, эдаким Вольтером, которому негоже говорить о таких мелочах, как обиды, разочарования, любовь и измены. От родителей он был далек и в километрах, и в собственных повседневных трудах, и в помыслах. Он любил их, несомненно, и с каждым годом все осознаннее, но, может быть, именно эта осознанная необходимость любви к родителям и разрушала близость между ними.

За свои институтские годы он научился прятать свои чувства даже от Натальи Андреевны, и лишь очень редко, когда бурлящий под заваренной им самим внутри себя крышкой котел неистовых эмоций и переживаний срывал насмешливую оболочку и вырывался вместе с подрагиванием глаз и скул наружу, он прижимался к ее рукам, и, давая, наконец, волю спрятаным чувствам, плакал и рыдал. Постепенно он научился удерживать внутри бешеные сердечные бури, и разливы половодья душевных мук случались все реже.

Наоборот, у Натальи Андреевны с каждым годом все сильнее стучалась и врывалась в сердце нерастратенная к несбывшимся детям любовь, перерастающая в обожание, похожее на чувственность и страсть к своему племяннику. Она испытывала у него не только имена девушек, с которыми он бывал близок, но и мельчайшие подробности их взаимоотношений, и эти интимные двусмысленности потом много раз прокручивались в ее голове и повторялись во снах, доставляя ей почти физическое наслаждение.

Не прошло и года Сашиного проживания в ее квартире, как она сказала:

– Что же ты Свету свою к нам не приведишь? Я вам мешать не буду, только хочу посмотреть на нее.

С этих слов повелось, что Саша приводил в их дом на семейный ужин сначала Свету и оставался ночевать с ней в своей комнате, потом ее место заступила Вера, затем кто-то еще, и так продолжалось до тех пор, пока он ни познакомился с Машей и ни стал жить с ней в квартире у Натальи Андреевны, почти как с официальной женой.

Маша была девушкой тихой, задумчивой, возвышенной и трепетной в своих чувствах к Саше. Казалось, и он ее полюбил. Она легко вошла в круг его друзей и ездила с ним на вечеринки в компании, на концерты, на прогулки, в кафе. Она даже сумела немного увлечь Сашу выставками и театрами, хотя для него и выставки, и музеи всегда оставались лишь нудной стороной существования, необходимой для того, чтобы порассуждать о них и не прослыть отсталым глупцом. Как и для большинства людей, чужое мнение о себе было для него важным и выходило в собственных глазах.

Маша была девушкой современных, а значит, свободных, раскрепощенных нравов, но человек проницательный мог бы в ней разглядеть редкую тонкость и незащищенность души. Она не была красавицей и чем-то напоминала Анну Ахматову в молодости, но внутренняя одухотворенность придавала ее лицу очарование нежности и чистоты. Она жила с Сашей, ухаживала за ним, готовила, прибиралась и, в свободное от учебы время, выполняла все необходимые по дому обязанности любящей и заботливой жены.

С Натальей Андреевной у них сложились доверительные, почти родственные отношения. Случалось, что разгульная и пьяная студенческая жизнь затягивала Сашу настолько, что он пропадал на несколько дней, не позвонив и не предупредив. В такие пустые вечера женщины

оставались дома вдвоем и в общем своем ожидании делились тревогой и горечью переживаний. Обычно Наталья Андреевна говорила:

– Что же делать? Он такой, какой есть. Хочешь с ним жить, привыкай.

А Маша, сдерживая слезы, отвечала:

– Хотя бы позвонил, так ведь нельзя.

В том, что касалось Сашиных девушек и, тем более, Маши, с которой он жил уже два года, в Наталье Андреевне постоянно боролись два противоположных чувства: жгучая ревность к ним и необходимость сделать выбор для любимого племянника. Она то восхваляла Машину скромность, ум и желание угодить Саше, то в глаза колола ее некрасивостью и неумением жить. Маша проглатывала обиды и старалась не заплакать.

Два года таких полусемейных отношений и неизбежного присутствия рядом с ними его тети лишь укрепили в Маше любовь и жертвенность сделали привычкой. Разрыв с ним стал для нее драмой, которую, как ей казалось, надо было принять с терпением и пережить.

Однажды вечером, когда они с Сашей остались вдвоем в своей комнате, он сел в кресло, налил себе водки и приготовился говорить. Маша уже понимала по его напряженному лицу, по налившимся кровью глазам, вздувшимся желвакам и нервно вздрагивающим пальцам, что он прокручивает в голове то, что хочет сказать, выдергивая из потаенной мысли нужные фразы.

– Вот что, Маша. Мы расстаемся. У меня появилась другая девушка. Я собираюсь на ней жениться.

Он не старался смягчить удар или сгладить слова. Он говорил то, что считал необходимым, и вместе со сказанным как бы освобождался от тяжести, давившей грудь, чувствовал себя легче, свободнее и уверенней. Для него это было делом решенным, но оставалась, как горькое послевкусие, какая-то жалость к Маше.

Жалость и чувство вины по отношению к другому человеку на некоторое время лишали его покоя и заставляли искренне страдать. Такое случалось и раньше, особенно, в том, что касалось его родителей. Но проходило время, и в череде тягостных раздумий и душевных терзаний он мысленно находил для себя множество причин, оправдывающих его перед самим собой и утверждающих его в правильности, естественности и даже необходимости принятого им решения. Это осознание разумности и несомненной верности своих поступков давало ему индульгенцию перед собственной совестью и возвращало душевный мир и покой. Кроме самооправдания и самоуспокоения, он получал и Божие прощение, искренне и самозабвенно каясь в грехах на исповеди, и это очищение души вселяло в него окончательную уверенность в своей правоте.

Его избранницу звали Ольга. Она лишь однажды показалась в гостях у Натальи Андреевны и никогда не оставалась ночевать в их доме. Эта предусмотрительность или женская интуиция и спасли ее от ласковой близости Натальи Андреевны, душащей в своих объятьях всех, кто слишком близко приближался к Саше.

До сей поры лишь одна Наталья Андреевна не явно, не напрямую, а исподволь обуздывала всплески и взрывы эмоций и желаний, клокочущих под напыленной Сашей на себя кольчугой насмешливого цинизма. Он учился ими управлять, но иногда срывался, и тогда необъяснимая злоба и ярость, желание раздавить, сломать, физически уничтожить людей рядом с ним, неподвластное воле ослепление, граничащее с безумием, вырывались наружу. Непонятно, откуда взялись в нем эти приступы, и что в детстве послужило их первопричиной, но они усиливались, особенно осенью, приходили вместе с головной болью, заставляли страдать и страшиться их приближения. Наталья Андреевна избегала говорить с ним об этом,

но каким-то непонятным для них обоим образом, просто своим присутствием облегчала его страх и муки борьбы с дремлющим в нем зверем.

Рядом с Ольгой Саша вдруг почувствовал то же самое: он становился ровнее и даже добрее, с ней к нему приходило долгожданное состояние душевного равновесия, она даже в чем-то была похожа на его тетю: спокойной уверенностью и знанием цели. Наверное, внутренняя схожесть с Натальей Андреевной, в конце концов, и определила для Саши выбор жены.

Спустя год после свадьбы у них родился первенец – Ваня, еще через два года Варя и, наконец, Ксюша.

Своих детей Александр Ильич обожал.

IV

Доктору Александру Ильичу Головину недавно исполнилось тридцать лет. За последние десять лет он сильно изменился даже внешне. Не так, до неузнаваемости, как меняется мальчик, превращаясь в мужчину, а словно обрастая, как новой одеждой, новыми чертами лица, выражением глаз, другой прической, другими манерами и походкой. Большие карие глаза утратили блеск мечтательной задумчивости, взгляд стал прямой и насмешливый. Некогда длинные, темно-русые волосы были теперь всегда коротко пострижены. Лоб перерезала вертикальная глубокая морщинка, щеки пополнели, подбородок потяжелел. Высокий рост скрадывался расправившимися плечами и образовавшимся небольшим брюшком. Вид стал солиднее, ноги не резали, как прежде, асфальт, будто ножницы, а ступали степенно и неторопливо.

Из прежних друзей у него остались двое или трое, встречался он с ними не часто, но, по-прежнему, любил пофилософствовать. Прежние вспышки беспричинного гнева, кажется, исчезли совсем, но, как дальнее эхо, напоминали о себе некоторой нервозностью и головной болью. Он стал спокойнее, ироничнее и доброжелательней. Под гитару он пел теперь редко, песен больше не писал, но иногда, под настроение, брался за кисть. Редко по воскресеньям, чаще по праздникам ходил с женой в церковь и даже пел для собственного удовольствия и улады души в церковном хоре.

Жена его, Ольга, мало изменилась за это время: не похудела, не потолстела, не подурнела, а, казалось, застыла во времени с той же улыбкой на лице, за которой невозможно было разглядеть ни скрытых мыслей, ни спрятанных чувств.

Дети росли толковыми и послушными.

Новая страсть появилась в жизни Александра Ильича – машины. После того, как отец подарил им на рождение сына машину, он сменил уже три и ездил на новой.

С родителями отношения оставались ровными и отстраненными. Дарья Степановна мучилась этим и винила себя, неизвестно за что, а он обычно говорил, когда звонил:

– Мама, что ты обижаешься? У меня семья, дети, работа. Времени совсем не хватает.

Дарья Степановна думала, что, конечно, можно было бы найти две минуты, чтобы позвонить матери, рассказать о внуках и о работе, просто сказать: «Не беспокойся, у нас все хорошо. Как вы? Мы скучаем», – но молчала и даже про себя оправдывала его: «Что я, в самом деле? Других забот у них что ли нет?»

С отцом он обычно встречался по делу, когда не хватало денег на новую машину или на ремонт. Обычно такие встречи, как игра в пинг-понг, протекали в полусерьезном-полушутливом тоне, а вопросы и ответы напоминали вежливые, нудные, ни к чему не обязывающие приветствия в африканских странах.

– Как дела?

– Нормально. А у вас?

– Хорошо. Как дети?

– Нормально.

– А на работе?

– Все в порядке.

И заканчивались одинаково:

– Приезжайте почаще.

– И вы заходите как-нибудь.

Во время кульминации разговора лицо Александра Ильича расплывалось в просительную улыбку, и он говорил главное:

– Папа, ты не мог бы мне одолжить...

Далее называлась сумма, причем оба понимали, что слово «одолжить» совсем не означает «дать в долг», а лишь смягчает просьбу.

Уже после этого он спрашивал радушно:

– Папа, ты как себя чувствуешь? А, это все ерунда, ты еще ого-го для своего возраста.

Это были короткие и редкие встречи.

С Натальей Андреевной они виделись, по-прежнему, часто. Обычно она, как хозяйка, приходила в их квартиру без приглашения, бесперемонно прохаживалась по комнатам и целовала детей. Она с удовольствием соглашалась с ними посидеть, когда Саша с Олей выходили в гости, и часто брала их на прогулку. С Ольгой у нее образовались вежливо-сдержанные отношения. Они, действительно, были очень похожи.

Александр Ильич работал врачом-реаниматологом в одной из московских клиник. Он выходил на сутки через двое и выматывался страшно. Каждый день к нему поступали десятки умирающих людей, и редко смена проходила без новой смерти. Он давно привык к смерти, он знал ее в лицо и различал признаки ее бесстрастной, неумолимой хватки. Она, как ошейник, стягивала шею больного, человек умирал на глазах, и ничего нельзя было сделать. Обычно за дежурство она уводила за собой двух-трех человек. Он давно не радовался победам над ней и смирялся с поражениями. Он делал свою работу и, как говорили, делал ее хорошо, но каждая схватка, на кону которой стояла человеческая жизнь, опустошала до такой степени, будто кто-то пальцем ковырял его внутренности. Он не стал равнодушным, он не представлял себя героем, он сделался циником. Каждый раз, выходя наутро после смены из своей клиники, он чувствовал одновременно и возбуждение, и жуткую усталость, как после марафонского бега. Он выпивал в ближайшем баре бутылку пива и стряхивал с себя, как липкий пот, ночной кошмар работы. За сутки больные, как в адском бесконечном конвейере, поступали в отделение на каталках, перевозились в операционную, лежали в палатах и в коридоре или увозились по холодному лабиринту туда, откуда не бывает возврата. Он старался не видеть их лиц, иначе можно было сойти с ума. Но когда после автомобильной катастрофы привозили совсем молоденькую девушку, невольно выкладывался до предела, чтобы постараться спасти эту юность и красоту. Не всегда получалось.

Смерть любила поиздеваться. Как-то привезли молодого парня с циррозом печени в последней стадии. Он был пьян и возбужден.

– Доктор, вколите мне что-нибудь по-быстрому. Меня друзья ждут. Я еще не догулял сегодня.

Завтра для него не наступило. Он умер через час.

Александр Ильич добирался после работы до дома и засыпал часа на четыре. В этот день ему было трудно говорить и заниматься с детьми. Хотелось забыться на время и очнуться где-

нибудь на берегу моря, где много солнца, воздуха и свободы. На следующий день становилось полегче: обычно они с Ольгой брали с собой детей и выезжали подальше от города на природу. Город ассоциировался у него с работой: он представлялся такой же бесконечной и утомительной каруселью, в которой сутились и толкались миллионы. Город был тем же конвейером, эскалатором в метро, засасывающим в свое брюхо новые и новые партии одинаковых, усталых лиц.

В последние два года Александра Ильича стала донимать навязчивая идея: вырваться из Москвы. Ему снилось солнце, река, зеленый луг, и все это сливалось в одно-единственное слово: покой. Душа его просила покоя.

Все чаще его посещали необычные, скорее, приятные сны. Они открывались ему, как отдушина, в которую он мог спрятаться и от больных, и от коллег, и от жены и даже детей. Он любил своих детей, но иногда хотелось отдохнуть и укрыться от них.

Однажды ему приснился странный, удивительный сон. Он вдруг увидел себя на берегу реки в неизвестном ему, но очень красивом месте. Недалеко шли какие-то незнакомые люди, потом они исчезли, и он остался один. Было светло и ярко, но не от солнца, а будто в воздухе разливался свет. На другом берегу, на холме возвышался храм. Он не стоял, а словно плыл в воздухе, как легендарный град Китеж. Его очертания были нечеткими, а от золотых куполов исходило мягкое сияние. Мягкостью, светом и теплотой было пропитано, насыщено до осязаемости все вокруг. Было спокойно и безмолвно. Александр вдруг перестал ощущать свое тело, будто продолжал жить одним сознанием. Его сознание стало безмерным, огромным и бездонным, как глаза мальчика из церковного хора. Смерть скрылась навсегда, даже само понятие конечности бытия исчезло. Сам он был уже не самим собой, а неизвестной, мягкой, созерцательной, эфемерной субстанцией, легкой, как облачко, быстрой, как мысль. Он словно сбросил кокон и превратился в бабочку, и почувствовал, как это прекрасно и бесконечно. Хотя даже это слово, как и множество других, перестало существовать. Ни начала, ни конца, ни времени не было. Все эти вдруг ставшие ненужными слова и понятия вытеснило из духа, в который облачилось сознание, одно лишь единственное слово, даже не слово, а ощущение и понимание – любовь. Любовь была повсюду. Ее не надо было слышать, видеть и осязать, но все обострившиеся органы чувств вкушали ее и знали – это любовь. Объяснить это ощущение было невозможно, да и не нужно было ничего никому объяснять. Все стало ненужным, неважным, лишь глубокая чистота и необъятная любовь стали единственным и бесспорным, вечным, живым и невидимым, как Бог.

Сколько секунд, часов или столетий продолжалось это его состояние неизвестно, но неожиданно дух опять обернулся сознанием, а сознание обрело плоть и ощутило себя. Первое, с чего он начал, это со спора с самим собой.

– Вернуться!

– Зачем? Ты прикоснулся к вечности.

– Не знаю, хочу вернуться.

Он возвратился и проснулся.

Вначале смутное, затем сфокусировавшееся в голове желание уехать из Москвы, зрело медленно, в мыслях, в разговорах с женой, потом показалось возможным и осуществимым и, наконец, сформировалось в реальность после решившего дело разговора с Натальей Андреевной.

Александр Ильич Головин сам не понимал, как так получалось, но все важные решения в жизни и поступки, которые резко меняли его существование и направляли в новое русло, он принимал либо по настоянию, либо с ведома, либо под влиянием своей тети. При этом он

считал себя совершенно независимым и самостоятельным в решениях человеком. Непонятно, была ли в этом со стороны Натальи Андреевны какая-то хитрость или интуитивное проявление любви к племяннику, желание подтолкнуть его на жизненных перекрестках к выбору правильной, по ее мнению, дороги, или чувство собственности, не позволяющее не то что оторвать, но даже отодвинуть от себя то, что она считала своим. Последнее обстоятельство, скорее всего, преобладало. В Наталье Андреевне всегда было очень велико чувство собственности на то, чем она хотела бы обладать, и, получив желаемое, уже никогда с этим не расставалась. Она и Сашей руководила исподволь, умно, но так, как виделось ей самой, как человеком раз и навсегда ставшим ее частью, лепила и формовала свое детище по собственному разумению для его же блага. Саша за долгие годы привык советоваться с ней, но эти, казалось, пустяковые, ничего не значащие советы всегда падали, как семена в ожидающую их по весне почву, и прорастали в голове будто бы сами собой. И хотя Саша всегда о себе думал, как о человеке неординарном и независимом, он всю жизнь оказывался подвластным чужому мнению и чужой воле: будь то тетя или жена. И хотя в последние годы, из-за довольно натянутых отношений между Ольгой и Натальей Андреевной при внешней их любезности и показной добросердечности, они с тетей встречались реже, в переломные, ответственные моменты судьбы Александр, как и раньше, бежал за поддержкой именно к Наталье Андреевне.

Тетя приняла его ласково и приветливо, как всегда.

– Значит, решили уехать из Москвы, – подвела она итог сбивчивому Сашину рассказу.

– Вот что я тебе скажу. Селитесь-ка вы у меня. С родителями вам будет тесно, хотя твой отец, как я знаю, новый дом строит. Мой дом на Волге ты знаешь, места на всех хватит, да и я там только летом бываю.

В этом Наталья Андреевна лукавила. Жила она в своих огромных каменных владениях на берегу Волги после выхода на пенсию с ранней весны до поздней осени, а в последнее время почти постоянно. Но права была в том, что комнат в доме было предостаточно и для детей, и для Саши с Ольгой. Было в нем и отопление, и вода, и прочие удобства, в общем, всё, что нужно для жизни.

– Ты поезжай для начала один, подготовь комнаты и найди работу. Хотя я думаю, с работой у тебя проблем не будет. Врачи везде нужны.

Так решился вопрос с переездом.

V

Оторвавшись на время от семьи, очутившись один в большом доме, Александр Ильич почувствовал свободу. Родителей от него отделяло десять километров, но это было так же далеко, как и до Москвы. Повидав их по приезду, он больше о них не вспоминал. Его Рено последней модели стучало копытами, а соскучившееся тело рвалось в бой, на волю, на просторы приключений. Он ощущал себя мальчишкой, сбежавшим из школы, или молодым иноком, оказавшимся вдруг за пределами монастырских стен. На прежнем месте работы он рассчитался, и денег было достаточно, чтобы не чувствовать себя ущемленным в исполнении желаний.

Но прежде надо было найти новую работу. Это, действительно, оказалось не так сложно. Хотя первая попытка была неудачной. Когда главный врач близлежащей больницы, суровый мужчина с каменным лицом, просмотрел бумаги, подтверждающие, что он много лет работал в московской клинике, лицо его подобрело:

– Я готов платить вам даже больше, чем любому другому врачу в нашей больнице, – и назвал такую мизерную сумму, что Александр чуть не рассмеялся ему в лицо.

Вскоре выяснилось, что стоит отъехать двадцать километров, и окажешься уже в другой области. Зарплаты там были в четыре раза выше. «Наверное, меньше воруют», – подумал Саша и договорился о выходе на работу через две недели. Приняли его с распростертыми объятиями, и это, в самом деле, было неожиданно и приятно после московского высокомерия начальников.

«Сделал дело, гуляй смело», – сказал сам себе Александр и в первый свободный день отправился на прогулку по знакомым с детства местам, в которых давно не был, а потом в ресторан. Он чувствовал себя завоевателем и победителем. Он словно сбросил с себя забрало и доспехи и, наконец, освободился от их тяжести.

Александр Ильич был привлекательным мужчиной, черты его лица были будто выточены резцом из камня, а приобретенная за московскую жизнь привычка смотреть на собеседника несколько насмешливо и снисходительно придавала ему некоторую загадочность. Он знал, что нравится женщинам, а чувство раскрепощенности и бесприглядности придавало ему уверенность.

В ресторане он заказал с видом знатока холодную семгу и красную икру на закуску, телячью голень с гречневой кашей на горячее и триста грамм водки. После ужина он довольно откинулся на спинку стула, закурил и огляделся.

За соседним столиком сидела довольно миловидная девушка и, казалось, ждала. Причем было понятно, что она ждет не какого-то конкретного человека, а просто пребывает в ожидании. Александр, как охотничий пес, почуявший дичь, принялся бесцеремонно ее разглядывать. Она несколько раз поднималась с места и проходила через зал, потом возвращалась, но скорее, видимо, для того, чтобы показать себя сзади. Два ее полушария натянулись на юбку, как барабан, и перекачивались колобками, словно приглашая погладить их ладонью. Иногда, будто случайно натыкаясь взглядом на Александра, она вопрошающе глядела на него несколько секунд и отворачивалась. Сашу эта бессловесная игра забавляла. Он неторопливо допил водку, рассчитался с официантом, подошел к ее столику и, наклонившись к самому ее лицу, спросил:

– Вы позволите?

Она молча кивнула, и он присел рядом. Собственно, все было сказано до этого взглядами, все было решено, и говорить больше было не о чем. Но приличия ради он все-таки завел разговор.

– Вы живете в этом городе?

– Нет, приехала на экскурсию.

– Я так и думал.

– Почему? – удивилась она.

Про себя он ответил: «По виду не проститутка, но явно ищешь мужчину. Местные девушки об этом не заявляют во всеуслышание.» А вслух сказал:

– Город маленький, а я здесь часто бываю. Вас бы я узнал. Вас как зовут?

– Лена.

– Я живу здесь недалеко. Хотите ко мне зайти?

Играть в словесную игру больше не хотелось. Последнюю фразу он произнес, не сомневаясь в ответе, будто говорил: «Пойдем».

И она пошла.

Дома они выпили еще водки и легли в кровать. Обычно в постели с Олей Саша бывал нежен, сейчас ему захотелось взять эту девушку грубо, будто насильно.

Наутро ей надо было уезжать, и больше он ее не видел. День он провел бесцельно, попивая пиво из бутылок, одну за одной. Вечером в интернете выбрал проститутку из областного центра.

Все последующие дни были задымлены пьянством и бабами.

VI

Ольга обустривалась на новом месте основательно. Московскую квартиру она сдала и договорилась о месте в садике недалеко от дома для старших детей. Как и в Москве, она не работала, сидела с Ксюшей, занималась с Ваней и Варей, ходила в церковь. Готовила она плохо, только что-то повседневное. Мясо, курицу или плов обычно приготавливал Саша. Ему это нравилось.

Место для дома было выбрано замечательно. Из окна открывался прекрасный вид на Волгу. В мае сад одевался в белые одежды и благоухал яблонями и вишнями.

Городок был сонным и тихим, воздух чистым и свежим, жизнь размеренна и нетороплива.

К Сашиним родителям они в первое время заезжали ненадолго, потом перестали.

Наталья Андреевна жила в этом же доме, из своей комнаты показывалась редко и старалась им не мешать, хотя иногда и прикрикивала:

– Откройте окна, детям дышать нечем.

Или:

– Что же вы лодку не купите? Живете на берегу Волги, хоть бы порыбачили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.